

Мурад Мухаммад Дост

МУСТАФА

Повесть

Перевод Валентина Коткина

Мустафа живет на западной окраине Галатепе, на склоне холма, сразу за прудом Ибадулло Махсума. Справа от него разместился двор Камиля Письмоноши, а слева — двор Маматкула. Он пустует уже десять лет, с тех самых пор как Маматкул переселился в новый каменный дом на другой стороне долины. Старый же его двор остался пустовать. Случается, в зимнее время пригоняют сюда овец, чтобы на завтра поутру продать. Накормят их, напоят, а рано утром погонят, сытых и отдохнувших, на большой воскресный галатепинский базар. Летом старый двор обыкновенно пуст. У иного такой двор давно бы превратился в обитель сов и ядовитых змей. Но Маматкул человек прилежный и обстоятельный, и каждую осень, едва спадет жара, он принимается обновлять свой двор. Чинит дувал, ворота, мажет крыши густым месивом из глины и самана, и смотришь — перед тобой двор как двор, почти новенький, и только тем и нехорош, что человек в нем не живет.

Другой двор, что справа от Мустафы, трудно даже и двором назвать, поскольку в нем начисто отсутствует дувал... Пять или шесть батманов дикой земли, заросшей бурьяном и тамариском, маленький домик без айвана, лицом к солнцу, чуть правее — коровник, где пегая корова Камиля Письмоноши соседствует с почтовой ключей,— вот и весь двор. Что касается двора самого Мустафы, то он тоже без дувала, но это уже особая статья... Вместо дувалов Мустафа вбил когда-то в землю колы тала и хлебной джиды. Колы эти оказались живучими. Прошло немного времени, и они принялись выпускать побеги, а те—еще побеги, так и пошло, вверх, вбок, ввысь, вкось — и выросла сплошная живая изгородь, такая густая, что даже кошке не пролезть. Этим и красив теперь двор Мустафы: войдешь — и глазам радостно! Со всех сторон живая, метров в пять высотой, изгородь, напротив ворот, в самой глубине двора — аккуратный домик с айваном и двумя молодыми чинарами по бокам, справа от ворот — большой хлев, круглая кошара для овец под широким брезентовым навесом о шести высоких жердях. Во дворе еще четыре равных клочка земли, три из них засеяны клевером, один кукурузой, а на межах между ними растут несколько низеньких скороспелых яблонь.

Ранней весной изгородь Мустафы желтая — это талы распускают свои сережки. Затем сережки упадут, и изгородь вся покрасится в зеленый цвет таловых листьев. Так и стоит она до самого лета, зеленая-зеленая, а летом снова меняет цвет. Серееет изгородь, серееет, серееет, пока совсем не превратится в серебристую — теперь уж считай, что пришла очередь за джидой. Когда джида начнет выпускать цветочки, дней на десять изгородь станет опять ярко-желтой, отпадут цветочки — снова серебристая с зеленой полоской талов сверху, а к осени еще раз пожелтеет... Мустафа любит свою изгородь, ухаживает за ней, словно молодуха за цветником в первый год замужества. Благо вода рядом, старый арык, с эмирских еще времен, огибая холм, протекает чуть выше двора Мустафы. Стоит коснуться кетменем, и тут же побежит вода вниз— к Мустафе, а там, глядишь, и до Камиля Письмоноши. Но Камиллю Письмоноше вода ни к чему. Огорода у него нет, деревьев тоже нет, и вообще ничего подобного у Камиля Письмоноши нет. Есть у него одна пегая корова и еще одна старая кляча, на которой он разъезжает от зари до заката по кишлаку, развозит людям письма, газеты, деньги... И жену подобрал себе под стать, не

любит она дома сидеть, стоит Камиллю Письмоноше сесть на свою клячу, как она берет в охапку прялку с клоком шерсти и уходит куда-нибудь посудачить.

Мустафа и Камиль Письмоноша не дружат. И жены их не дружат. К тому же у них большая разница в возрасте: Камиль молодой, ему еще и шестидесяти не исполнилось, а Мустафе прошлым летом перевалило за семьдесят. Слава аллаху, сил у него пока достаточно. Ни к кому он не лезет, живет себе тихо, скромно, спокойно.

Денег у Мустафы хватает. У него их столько, что жить бы им с женой припеваючи до конца своих дней. Но не умеет сидеть Мустафа без дела. Едва наступает весна и чуть оживет земля, Мустафа начинает пахать.

Пашет он выше эмирского арыка, на верхнем склоне холма. Опояшет холм одной бороздой, принимается за вторую, потом за третью, четвертую — и так до самой макушки холма. На вспаханной земле Мустафа сеет клевер, сажает дыни, кормовые арбузы для коров. А коров у него много, целых четыре. Еще он держит баранов на убой. Откормленных Мустафой баранов всякий мясник считает за счастье купить. Ходила даже легенда, будто однажды Мустафе пришлось подставить под курдюк своего барана большой табурет, до того оказался жирный баран... Но это, честно говоря, чистейшая выдумка, на которую способны лишь одни мясники. Нет у Мустафы никакого табурета. Это другой человек, Манзар-палван, а не Мустафа, так похвалялся перед Ибадулло Махсумом. Но и другое верно. В день, когда мясник Салех достиг возраста пророка, то есть когда ему исполнилось полных шестьдесят три года, он купил у Мустафы гиссарского барана с огромным курдюком, и мясо этого барана оказалось таким жирным, в пиршественном казане плавали одни лишь белые кусочки. Отличная тогда получилась шурпа у мясника Салеха. Перед тем как разрубить тушу барана, мясник Салех повесил ее на рогатине яблони и, позабыв, что сам угощает народ, долго любовался этой тушей, всячески прищелкивая языком и приговаривая: .

— Ах, Мустафа!.. Велика же твоя доброта, Мустафа!.. Ты воистину мусульманин, Мустафа, ибо сам пророк наш Мухаммед любил такое мясо, хорошее вкусное мясо и упитанных женщин!..

Сам Мустафа тоже был на этом пиршестве, но, когда его спросили, каким же образом удалось ему откормить столь божественного барана, так и не смог ничего толком сказать. Пришлось за него ответить Ибадулло Махсуму:

— Видать, он научился у Манзара-палвана подставлять под курдюк табурет.

И удивился народ искусству Мустафы. А вот когда резали барана у самого Манзара-палвана, то хоть и хвастался он своим табуретом, не было такого удивления. Да и баран Манзара-палвана, хоть и подставлял Манзар под его курдюк табурет, не оказался таким жирным, и шурпа из того барана не получилась такой вкусной, как у мясника Салеха. Покойный мулла Данияр, любивший отменно покушать, оказывается, подлил в казан целый черпак кунжутного масла, видать, шурпа из барана Манзара-палвана показалась ему слишком постной.

Что-что, а откармливать баранов Мустафа умеет. У других так не получается. Поэтому зря завистники посмеиваются над ним. Скажем, всем галатепинским мужикам странно, что Мустафа ни разу в жизни не стриг своих баранов. Но тут все проще простого, не стоит даже и удивляться. Мустафа это делает исключительно ради бараньей шкуры. Даже продавая баранов на убой, он может скинуть с каждой головы по пять-десять рублей, но ни за что не отдаст шкуры. Шкуры он оставляет себе. Его старуха выскребет потом из шкуры остатки мяса и крови и начнет разминать так и смяк, пока шкура совсем не отмякнет, потом умастит ее соленым творогом и опять помнет... После окончательной выделки, которая, впрочем, длится не одну неделю, она возьмет несколько таких шкур и сошьет из них коврик. Оба они, и она и Мустафа,

люди уже пожилые, овчина им пригодится, особенно зимой. Иногда старуха выделывает шкуры специально для Мустафы. Тогда Мустафа берет в руки шило, большие ножницы, дратву, воск и шьет себе и жене мягкие кауши. Если захочет, то может сшить и сапоги. И такие сапоги очень пригодятся зимой. Да и весной они удобны. Если есть тонкие портянки, то их можно носить даже в летнее время. Слатает Мустафа одну, две пары таких сапог, сядет на своего осла и поедет в Сарсан, где кузнец Салим сделает им набойки. А до Сарсана совсем недалеко — стоит перейти один перевал, а там, при подъеме на другой перевал, уже виден Сарсан. После кузнеца надо будет сапоги как следует натереть бараньим салом, высушить в тени — и вот они уже готовы. Надевай и иди вброд хоть через Зерафшан, вода в них не попадет.

В самом Галатепе мало ценителей таких сапог. Тут народ «чересчур культурный», как сетует иногда Ибадулло Махсум, и носят они готовые сапоги из магазина. Да есть еще у них какое-то дурацкое суеверие, верят они, будто сапоги, подбитые желтыми гвоздями, хороши, а белыми — никудышны. И носят они большей частью сапоги с желтыми гвоздями, хотя и те и другие разваливаются через каких-нибудь полгода. Мустафе иногда даже обидно бывает, что в родном кишлаке не ценят его сапог. Но зато в Сарсане, который вовсе не его родной кишлак, не встретишь ни одного кузнеца (а там, почитай, одни кузнецы и живут) без мустафинских сапог. Мустафа за свое изделие денег не берет. Один, едва открыв в воскресенье на галатепинском базаре свою походную кузницу, подкует у Мустафы ослика, другой делает ему хорошие шила, третий — железный кол для привязи скота, четвертый — еще что-то, не важно что, но очень полезное и хорошее. Словом, каждый старается отблагодарить тем, на что горазд. Скажем, шорник Мавлян из Чонкаймыша сам не носит мустафинские сапоги, но поскольку жене его по вкусу мустафинские кауши, то шорник снабжает Мустафу воском, нитками и жилками собственной выделки. Да и тесемки из бараньей шкуры у шорника Мавляна очень хорошие. А без этих тесемок Мустафе просто не обойтись. Мустафа, сам хоть и не делает, подобно шорнику Мавляну, конские седла, зато умеет мастерить крепкие седла для ослов, конские покрывала и потники.

Конские потники, которые делает Мустафа, тоже славятся на всю округу. Тут уже требуется хороший воск, липкий, без' лишней примеси. Не смажешь нитки таким воском, считай, что потников у тебя нет, завтра же подопреют все нитки и потники развалятся. Конь—это тебе не ханская жена, он потеет. Да и ханские жены, по свидетельству Ибадулло Махсума, потели, но им потники были ни к чему, а вот коню они необходимы.

Иногда Мустафа покупает у колхозного амбарщика серый войлок. Из такого войлока потники или покрывала для коней не сошьешь. Но для коров он просто незаменим. И делает из него Мустафа тонкие покрывала для своих коров. Баранам — нет, у них шерсти полно, а вот коров все-таки надо держать в тепле, особенно в зимнюю стужу. Впрочем, один только Мустафа во всем Галатепе и держит коров под покрывалом. Остальные так не делают. А у Мустафы это идет, так сказать, от самой его природы — Мустафа и сам не выносит холода. Зимой он ходит в большом тулупе, а летом — в шерстяном чекмене. Сперва в этом чекмене кажется очень жарко, потом становится еще жарче, пот так и катит градом с тебя, но дальше уже прохладно делается, как только собственная же твоя влага начинает остужать тебя. Но это хорошо, когда особенно жаркая погода и нет ветра, при ветре опасно так потеть, можно простудиться.

Мустафа, хоть и кажется великаном в своем тулупе и чекмене, в самом деле отнюдь никакой не великан. Ростом он даже ниже среднего, но жилистый, сильный. Оттого, что жилистый, незаметно даже, стареет он или нет. Какой был тридцать лет назад, такой же остался и по сей день, все тот же Мустафа, сын Хамракула, внук Нуркула, трудяга, вечно занятой человек.

Трудно что-либо сказать о других стариках, но Мустафа один в состоянии нагрузить на осла

пудов пять, Может ли он нагрузить пять пудов на коня, мы не знаем, ибо Мустафа еще ни разу не держал коней. Мустафа считает, что кони — это удел больших людей, пускай они и ездят на них. Поэтому, хотя он не слишком разбирается в скачках, но то и дело расхваливает пегого мерина колхозного председателя. Даже грудастый белый скакун Якуба-козлодера, чистейший карабаир, не кажется ему таким породистым, как тот щупленький председательский мерин. «А почему это лошадь Якуба-козлодера так вперед рвется? — да все оттого, что у нее душа болит, — думает он. — Якуб-то-козлодер бьет своего коня без пощады, как же ему не прорваться сквозь толпу всадников? Попробуй не побегу, когда тебя камчой по голове бьют! Якуб-козлодер бьет, а ему еще за это деньги платят...» Так Мустафа думает о белом скакуне Якуба-козлодера, но об этом никому не говорит. Даже своей старушке. Бойтся, как бы старушка не засмеяла его. Но выскажи он ей свои мысли, она бы его не засмеяла. Слишком она уважает своего старика. Она-то знает, что многие одногодки Мустафы давно передвигаются только с помощью палки, стали ворчливы, как дети, а Мустафа — нет, держится сам, бодро тащит пока свои кости... Есть еще, значит, сила, есть, значит, за что уважать старика. Скажем, Назар Махдум, сын муллы Сунната, одногодка Мустафы, сперва взберется на осла, а потом кричит жене, чтобы та отвязывала осла от привязи. Да еще сердится, что жена такая нерасторопная. Это называется, он едет на мельницу... Да и там, на мельнице, пальцем не пошевелит, ждет, пока мельник сам не погрузит на осла мешок с мукой. И еще ворчит на мельника, он, мол, такой да сякой... Разве Мустафа так когда-нибудь поступил бы? Вон сколько лет живу вместе, хоть бы слово дурное сказал!.. Совесть, значит, есть у старика. Умрет, но никому не станет обузой!..

Когда надо резать бычка у Мустафы, мясник Бако всегда приходит один. Больше никого не приглашают. Вдвоем они быстро справляются с бычком, схватят и мгновенно свалят его на землю. Мустафа сам свяжет бычку ноги, потом уйдет, чтобы не видеть крови. А мясник Бако спокойно развяжет свой холщовый мешок, возьмет оттуда топор и бьет по голове лежащего на земле бычка, наметив попасть ему между глаз. Это он так привык работать на большой городской бойне. Там всегда топорами оглушают быков. Этого бычка можно даже не оглушать, так он смиренно лежит у ног, но мясник Бако так уж привык — оглушает. Только потрет свой длинный тонкий нож и вонзает его в шею бычка...

Пока мясник разрезает шкуру бычка, Мустафа сидит за воротами возле большой навозной кучи и наблюдает за кишлаком. Отсюда, со склона холма, кишлак хорошо виден. Каждый раз, когда Бако режет скот у него во дворе, Мустафа приходит сюда и смотрит на лежащий под ним кишлак. Если дело происходит летом, то он больше смотрит на колхозный сад, который начинается сразу же за прудом Ибадулло Махсума. Если выдался большой урожай, то Мустафа думает, что урожай большой, значит, и денег будет много; если плохой урожай, то он думает, что урожай плохой, значит, и денег будет мало. В последнее время Мустафа часто думает о том, какими плохими стали урожаи и как мало за них выручают денег... Постарели яблони, и урюки постарели, а персики, те и подавно стали дряхлые, стволы покрылись шишками, много на них белого жира клейковины, муравьев, которые пожирают эту клейковину... Земля зря пропадает, думает Мустафа, пора уже вырубать сад... Если вырубить, то дров много будет. Детей Апсамата попрошу, не откажут, надеется Мустафа, могут же они и ко мне во двор занести несколько охапок дров... Хороший был сад, думает Мустафа с грустью, хороший был сад, если не считать ненужных двух лип, то все деревья плодоносили. Плодов было много, и денег за них много выручали, жаль, теперь весь сад превратится в дрова...

Зимой Мустафа старается не смотреть на колхозный сад. Зимой сад неприглядный: всюду снег, деревья голые, сплошь и рядом торчат из-под снега обломанные ветки... Смотрит Мустафа то на белый снег, то на свою белую бороду и думает, что и сам уже постарел, вот и борода совсем белая стала... Думать о старости ему неприятно. Поэтому он любит смотреть в сторону

Чонкаймыша, большой снежной вершины на востоке. Думает тоже только о Чонкаймыше. Если на вершине много снега, то Мустафа думает, что будущей весной непременно обрушится сель. Лишь бы только этот сель не унес дом Сатвалды, у самого обрыва над речкой. Почему этот Сатвалды до сих пор не удосужится откочевать в безопасное место?.. В позапрошлом году селом унесло у него годовалого телка, а в прошлом году утонула рыжая корова... Сам без конца хвастал перед людьми, что рыжая по два ведра молока в день давала, сам же и сглазил ее... Не хвалился бы Сатвалды, может, и корову его не унесло бы селом... И вообще, сель не разбирает, какая корова много молока дает, какая мало, уносит — и все. Эх, дурень же этот Сатвалды!..

Думать, что Сатвалды дурень, Мустафе тоже неприятно. Тогда он попристальней вглядывается в снежную вершину и думает о другом. Если в субботу в Чонкаймыше выпадет много снега, размышляет Мустафа, то никто не придет на базар продавать морковь, и многие галатепинцы останутся без плова. Ему становится жалко и чонкаймышцев, которые из-за снега не приедут продавать морковь, и своих несчастных галатепинцев, которые не смогут сварить себе плова. Потом его взгляд переносится на близлежащие холмы. Снега полно навалило, думает он, если еще две-три недели так будет идти снег, земля насытится, травы будет много, и урожай дынь будет большой... То, что урожай дынь будет большой, радуется Мустафу. Дынь много, значит, и корок от них много, куда же их денешь, не пропадать же коркам... Баранов ими можно кормить... И Мустафа тут же решает купить еще пару баранов. Мысль о баранах возвращает его снова во двор, где он оставил мясника и бычка. И он вспоминает те дни, когда этот самый бычок, которого он помог Бако свалить, был еще теленком и все бегал по двору, высоко задрав хвост, а потом, вялый и вымотанный жарой, подолгу лежал в тени под навесом...

Грустный, очень грустный возвращается Мустафа во двор. В это время мясник Бако уже успеваешь содрать полшкуры, и теперь принимается за вторую половину. Увидя скорбное лицо Мустафы, он ухмыляется и тут же лезет за голенище сапога, вынимает нож и, как ни в чем не бывало, протягивает его Мустафе. Тот поневоле занимает место рядом с мясником и тоже принимается кончиком ножа отдирать шкуру. Хороший был бычок, думает он, очень хороший... Ему до того жаль несчастного бычка, что он изо всех сил старается не порезать его шкуру. Мустафа—плохой мясник, вернее, совсем никакой не мясник, он страшно боится крови. Вот это-то больше всего и забавляет мясника Бако. Он начинает остервенело сдирать шкуру большим стальным ножом. Под руки он не смотрит, знает—работа его спорится, он смотрит на Мустафу — очень уж забавен этот старик. Смотрит на Мустафу, а сам сдирает шкуру. Сдирает и ругается всеми ругательствами, которым научился на городской бойне. Мустафа, хоть и ни слова не понимает по-русски, чувствует, что Бако нехорошо ругается, думает даже остановить его, сказать: «Не ругайся, Бако, не оскверняй мясо недозволенными словами...» Но не хватает у него смелости обуздать мясника Бако. Ему бы только не думать про этого бычка.

Мустафа старается думать о его грехах, что мясо от его ругани осквернится, что именно Бако, а не он, Мустафа, будет виноват перед аллахом, и таким образом мало-помалу он забывает про бычка. Сдирает Бако шкуру, сдирает шкуру Мустафа и видит только руки мясника, его большой нож, синеватую шкуру, и вдруг ему начинает казаться, что вся эта куча мяса так всегда и была только кучей мяса, а бычка и вовсе не было. Потом один за другим приходят покупатели. Разговоры, ругань мясника, недовольство покупателей, что он их обвешивает, все больше и больше отвлекают Мустафу, и он совсем забывает о своем бычке.

Когда мясо продано, Мустафа рассчитывается с мясником за его труды. Такса мясника Бако неизменна. За бычка тридцать рублей, за барана — десять. Отдает Мустафа ему эти тридцать рублей. Бако берет их, сует в большой карман грязного фартука, потом требует еще десятку. Он почему-то не верит в щедрость Мустафы, поэтому всегда требует с него лишних десять рублей. И каждый раз, когда Мустафа послушно отдает ему эту десятку, мясник Бако удивляется, но

деньги не возвращает, видимо, какое-то крошечное сомнение все же остается в душе мясника. После расчета Бако делает знак жене Мустафы убрать весы, а сам начинает собирать лежащие на шкуре бычка «запретные» жилки и бросать их в свой холщовый мешок. Слишком уж нетерпелив этот мясник Бако, не любит он отдирать эти богом запрещенные жилки чистенькими, а вырезает их с большими кусками мяса, чтобы потом как следует почистить у себя дома... Мустафа все это видит и хочется ему призвать мясника побояться бога. Но Мустафа не решается и рта раскрыть. Надо ли ссориться из-за проклятых жилок? Расскажет Бако людям, скрягой еще обзовут. А Бако тем временем убирает в мешок свои ножи, топор, разные дощечки, заворачивает шкуру бычка и говорит Мустафе:

— На, старик, неси домой.

А сам смеется. Мустафа на минуту теряется, не, знает, как ему быть. Он понимает, можно и не брать шкуру домой, но и отказаться не осмеливается.

— Неси, старик, неси! — повторяет мясник. — А то мухи ее разукрасят!

На этот раз Мустафа вроде бы находит здравый смысл в словах Бако. «Лучше уж правда унесу, а то мух-то вон как много...» — думает он, но опять останавливается. Не дает Бако спокойно ему уйти. Но как только отрывает Мустафа от земли тяжелую шкуру, мясник начинает хохотать:

— Неси, старикан, неси! Коврик шить будешь!... Мустафа поднимает голову, чтобы возразить, но опять не решается... Как же тут возразишь, когда Бако сам прекрасно знает, что из шкуры бычка овчины не получится, шерсти-то у бычков, считай, совсем нету... Мустафу обижает насмешка мясника, но тут же, сам того не замечая, он опять начинает оправдывать Бако. «Сапоги сошью, — думает он, — коврика из нее не сошьешь, а вот сапоги можно... Если хорошенько обработать, то хорошие сапоги получатся».

— Неси, неси, старик! — уже третий раз призывает мясник Бако.

Мустафа со шкурой в руках молча направляется в дом. Голова у него опущена вниз, да и весь он будто уменьшился в размерах, грустный такой идет... Старуха удивленно взирает на него. Мустафе стыдно, он старается не встретиться с женой взглядом. И старуха молчит. Она думает, что шкура очень тяжела, что ее, язву такую, опять надо будет вынести из дома для обработки...

Немного спустя Мустафа выходит из дома и видит, что мясник стоит, уставившись на его точильный брусок. Давно хочется Бако унести этот брусок, но никак не решается он это сделать. Просить как-то совестно — на дне речки полно таких камней. Но у Мустафы он какой-то особенный, ровный, длинный, словно настоящий кинжал, только без рукоятки. Бако прекрасно знает, что Мустафа ему не откажет, но все же не может попросить этот проклятый брусок, который ему так нравится. Не может потому, что он взял с Мустафы лишние десять рублей, и еще потому, что Мустафа ему не откажет... Бако сам удивляется на себя, ему становится как-то жалко Мустафу, и оттого, что душа у него размягчается, он опять начинает ругаться. Кроет Мустафу отборными словами... Но Мустафа его не понимает. Поскольку он не понимает, Бако начинает злиться еще пуще, еще искренней, и, сам того не замечая, переходит на родной язык:

— Обабился, старик! — кричит он Мустафе. — Чего ж это ты бабой-то стал, а? Может, скажешь? Не скажешь? Баба ты, баба и есть. Крови боишься, ножа боишься... Баба ты, не Мустафа, а баба!..

Бедный Мустафа никак не может взять в толк, за что на него так обрушился мясник. Стоит и молчит. Молчит и молит бога, чтобы не забрел сейчас ненароком племянник Усман, чего доброго, отлупит он мясника. Посматривает Мустафа украдкой в сторону ворот, но нет, все тихо, племянник вроде не идет.

Мясник Бако, злой, как черт, уходит. Мустафа его не провожает, садится в сторонке и начинает размышлять. «Бако больше не позову,— думает он,— никогда больше не позову этого бандита резать бычка». А сам чувствует, что позовет. Поэтому он еще раз пытается распалить себя, чтобы вовсе не позвать мясника, вспоминает, с каким наслаждением Бако обозвал его бабой. Но ему что-то не верится, что он баба... Смотрит Мустафа на свою белую бороду, тербит ее, начинает говорить вслух, чтобы послушать, похож ли его голос на бабий. Потом зовет жену, прислушивается к ее голосу, сам начинает говорить с ней, сравнивает свой голос с ее тоненьким старушечьим, и остается довольный. Нет, его голос, пусть хоть и немного мягок, совсем не похож на бабий...

Однако, что бы там ни было, но после каждого визита мясника Мустафа начинает громко басить. Однажды Ибадулло Махсум даже удивился, услышав, что Мустафа говорит каким-то странным голосом.

— Вы, Мустафа, так, пожалуйста, не говорите,— сказал он.— Так вы совсем не похожи на Мустафу.

— Ведь у меня совсем мягкий голос,— смутился Мустафа.— Очень даже мягкий. Махсум...

— Мягкий, слов нет, мягкий,— подтвердил Ибадулло Махсум.— Аллах дает каждому свое, даже голос...

— Люди смеются, что у меня такой мягкий голос,— пожаловался Мустафа.

— Так они, должно быть, пошли от обезьян, если смеются по такому поводу,— рассудил Ибадулло Махсум.— А вы попробуйте, Мустафа, немножко простудиться, может, и голос чуть огрубеет, а?

— От простуды меня лихорадит,— сказал Мустафа.

— А раз лихорадит, так уж тогда не простужайтесь,— сказал Ибадулло Махсум.— Вы потеплее одевайтесь, Мустафа, раз вас лихорадит... Так сказал Ибадулло Махсум и ушел. В другой раз Мустафа хотел пожаловаться на свой голос старику Хуччи, хотя тот ничего странного в его голосе не заметил. Но старик Хуччи не пожелал его слушать и сам завел разговор про лошадей, Хуччи говорил, а Мустафа, которому так хотелось пожаловаться на свой голос, смиренно слушал.

— Вот вы есть Мустафа,— сказал старик Хуччи.— Никто ведь еще не назвал вас Манзаром-палваном, потому что вы с самого своего рождения Мустафа. Или я неправду говорю?

— Правда, почтенный, правда,— сказал Мустафа.— Вы правду говорите, Хуччи-ака.

— А мерин Камала мерин и есть, поэтому нельзя его назвать скакуном,— продолжал свою мысль старик Хуччи.— А раз он мерин, то грош ему цена, будь он хоть трижды пегим, правда ведь?

Мустафа не очень понял, куда клонит старик Хуччи, но кивнул головой — согласился. Молча, с уважением слушал он почтенного Хуччи, некогда первого всадника во всем Галатепе.

— Теперь возьмем Якуба-козлодера,— сказал старик Хуччи.— Сам он большой дурак, но лошадь у него хорошая. Как можно назвать ее дурной, коли она хорошая? Она же не виновата, что ее хозяин дурак?

Тут Мустафа не выдержал...

— Да вот голос у меня мягкий, почтенный,— начал он.— Даже Пиримкул смеется, что у меня голос больно мягкий,— соврал Мустафа.

Уж очень неудобно было начать разговор сразу с мясника Бако.

— Пиримкул не должен над вами смеяться,— сказал старик Хуччи.— Он же вам родной брат, пускай лучше смеется над чужими...

— Кажется, и Бако немного смеется...— сказал Мустафа.

— Бако—жулик!—отрезал старик Хуччи.—Живи он в старое время, из него получился бы

настоящий разбойник!

— А я, оказывается, баба,— Мустафа не мог сдержать своей обиды, сразу вылил душу перед стариком Хуччи.— Бако меня бабой обозвал...

— Вы—баба?..—старик Хуччи задумался.— Не знаю, Мустафа. Коли так... нет, Мустафа, вы меня послушайте, если вы баба... как же тогда? Ведь есть же у вас дочь?

— Есть, почтенный,— сказал Мустафа и глубоко вздохнул.

Старик Хуччи его понял.

— Будь у вас сын, он бы разможил этому мяснику череп,— заключил Хуччи.— Вы, Мустафа, могли бы сказать своему племяннику, Усману, он тоже неплохой парень, мог бы...

— Нет, так нельзя, почтенный,— испугался Мустафа.— Усману драться нельзя, он и без того виноватый ходит...

— Как хотите, дело ваше,— сказал старик Хуччи.— А вы сами разве не сказали ему, чтобы он унялся, чтобы знал свое место этот паршивец!..

— Уймется ли, он же такой...

— Вот сын блудницы!..—выругался старик Хуччи.— Вы его обидели чем-нибудь, а?.. Мустафа не ответил. Опять вздохнул.

Вечером того же дня старик Хуччи пришел к Мустафе с Ибадулло Махсумом. Они не захотели войти в дом, остановились у ворот. Мустафа выкатил со двора пустую тачку, перевернул, накрыл овчиной, чтобы гости, раз уж они не вошли в дом, могли бы тут сесть, отдохнуть... Старик Хуччи не стал долго мешкать и спросил прямо в лоб у Ибадулло Махсума:

— Скажите, Махсум, скажите Мустафе самому, разве он похож на бабу?

Вопрос был совершенно неожиданный, но Ибадулло Махсум не растерялся.

— А вы сами как думаете, почтенный? — невозмутимо сказал он.

— Мустафа говорит, что Бако обозвал его бабой.

— Бако сам осел,— сказал Ибадулло Махсум.

— Это хорошо, что он осел, но очень плохо, когда такой осел обзывает Мустафу бабой.

— У него глаза как у дохлого осла,—сказал Ибадулло Махсум.— Вы ему не продырявили слегка череп, Мустафа?

— Нет, я в жизни никого не бил, Махсум!..

— А надо бы...

— Меня вот били,— вспомнил старик Хуччи.— Меля Усман Звездочет с сыновьями бил. Один он не справился бы, а вот с сыновьями избивал.

— Я старше Бако,— сказал Мустафа,— а он меня бабой обозвал...

— Вот уж неправда,—утешил его Ибадулло Махсум.— Вы, Мустафа, если даже похожи, так на мягкую, кроткую женщину.

— Кротких баб не бывает,— возразил старик Хуччи.

— Мустафа-то кроткий?..

— Мустафа же не баба,— опять возразил старик Хуччи.— Это Бако обозвал его бабой.

— Бако не в счет, осел и есть осел, но разве грешно быть немного похожим на добрую, кроткую женщину? — спросил Ибадулло Махсум.— Не дай бог быть похожим на злую женщину! Сожрет тебя живьем такая баба! А вы, Мустафа, еще никого ведь не сожрали?

— Поймите, Махсум, Мустафа не баба, чтобы кого-нибудь жрать!—рассердился старик Хуччи.— Это Бако, сын блудницы, окрестил его бабой...

Ибадулло Махсум и старик Хуччи еще немного поспорили и ушли, оставив Мустафу в еще большем смятении...

Вернувшись в дом, Мустафа застал жену за работой. Она колотила в передней палками по куче шерсти, чтобы выбить из нее пыль. Увидев Мустафу, она сразу начала с упреков:

— Могли бы и получше что-нибудь купить, разве это шерсть!..

Мустафа промолчал. Он и без нее знает, что торговцы шерстью добавляют в нее извести и всякой другой дряни. Им нет дела, что шерсть портится. Лишь бы весила больше.

— Они совсем совесть потеряли! Вот, смотрите!..— показала старушка и с размаху ударила палкой по тюку. Поднялась едкая белая пыль. Старуха зачихала, но палки не бросила, заколотила, будто назло, еще сильнее.

Вскоре пыль залезла и в ноздри Мустафы, и он несколько раз чихнул. Ему захотелось скорей проскочить в комнату и запереться, но он передумал — все же совестно показалось оставить жену одну глотать пыль, и Мустафа присел на край коврика рядом.

— Дались вам эти потники! — продолжала ворчать старушка.— Могли бы из серого войлока сделать.

— Из серого не годится,— тихо ответил Мустафа,— серый из плохой шерсти.

— А эта, с известью, по-вашему хорошая? — зло спросила старушка.

— Если почистить, то...—Мустафа замялся, виновато посмотрел на жену.—Это мне Камал Раис заказал, человек он уважаемый, надо сделать.

— А он все равно вам денег не даст.

— Зачем тебе деньги? — удивился Мустафа.— У нас же есть деньги.

— Да, есть,—подтвердила старушка.—Их даже больше, чем надо. Что с ними делать-то?

Мустафа только удивился наивности жены.

— Вдруг какой негодяй пронюхает? — всполошилась она.

— Ты что так испугалась? Тебя, что ли, придут воровать?

— Меня? Вот богатство-то! — старушка засмеялась мелким дребезжащим смешком.

— Нет, Гульсара, украдут, так деньги украдут, а тебя не тронут!..

Мустафа сказал и вдруг вспомнил, что его жену зовут Гульсарой. Это девичье имя удивило его, старухе совсем не подходит такое — Гульсара.

Сколько ни тужился Мустафа, но никак не мог представить жену девушкой. Гульсара была его вторая жена. Когда первая жена, Майрам, умерла, старики в Галатепе не захотели оставлять Мустафу вдовцом и женили его на Гульсаре. Она тоже тогда была вдовой после смерти мужа, торговца кунжутным маслом. Давно это было, лет сорок назад.

— Ты не бойся, Гульсара,—сказал Мустафа. Он нарочно назвал ее Гульсарой. Сейчас ему очень забавно было называть ее Гульсарой.—Тебя не украдут, Гульсара!

— Да кому я нужна!..—отмахнулась старушка,— Только вот думаю, все же что-то надо делать, раз есть деньги.

— Скажи, сделаем, Гульсара...

— Может, поминки по Майрам-апа справим?

— Это ты хорошо придумала, Гульсара,— Мустафа обрадовался, что она вспомнила про его первую жену.— Но поминки мы уже делали. Помнишь, резали тогда еще большого белого барана? Я его совсем маленьким купил у Ибадулло Махсума.

— Что-то запамятовала,— призналась старушка.— Но если небольшие поминки, тогда, может, я сама что-нибудь испеку, зажгу пару свечек?

— Хорошо, Гульсара, ты зажги пару свечек,— согласился Мустафа.— Бедная Майрам порадуетя.

— Дай бог, чтоб порадовалась! А то ее дух стал часто навещать нас, вы не заметили?

Мустафа сделал вид, будто не услышал. Он не любил говорить о духах умерших. Верить в них верил, но говорить не любил. Дух одного возвращается и поет сверчком, другого — цикадой. Дух у кого-то еще оборачивается даже змеей. Тут ничего нельзя предугадывать, и лучше уж не тревожить духов лишними разговорами. Мустафа хорошо помнил, как дух

умершего ишана обернулся змеей и укусил его же собственного сына Салимхана. Вообще этих духов никогда не поймешь, и они, кажется, не слишком разбираются, виноват ты или нет, свой ты или чужой, раз дух обернулся змеей, так он непременно ужалит. А Салимхан тот был человеком тихим, покорным, сроду никого не обижал, а отца своего и по давню — отец резкого слова от него никогда не услышал. И сам покойный ишан был неплохой человек, но, увы, дух его обернулся змеей и ужалил его же сына, еле спасли. Так что о духах лучше не заикаться. Но жена Мустафы не догадывается об этом и все говорит о них. Мустафа сколько раз просил ее не делать этого, да что с нее взять, она ведь баба, а у баб язык без костей.

Старушка опять принялась колотить шерсть. Опять поднялась едкая известковая пыль. Мустафа засуетился и, чтобы хоть немного отвлечь жену от ее занятий, спросил?

— Ты телят накормила, Гульсара?

— Накормила,— ответила она, перестав орудовать палкой.— Рыжий что-то невесел, заболел, наверное...

— Ничего, отойдет... А ты себя особо не утруждай, Гульсара,— торопливо сказал Мустафа, боясь, что она опять примется за свою палку.— Ты себя не мучай, зачем тебе в старости лет так надсаждаться. Сиди спокойно, и без этой шерсти как-нибудь проживем.

— А потник для Камала? — удивленно спросила жена.

— Так он не сегодня нужен, можно и повременить... Ты хоть немного отдохни, Гульсара.

— Человек без работы быстро стареет,— сказала она.

Мустафа не мог удержаться от смеха — так потешны показались ему слова жены.

— Ты же все равно старая, Гульсара! — сказал он,— Ты точно Назар Махдум, тому тоже все молодым хочется быть. Самому уже за семьдесят, а он еще...

— Это вы над кем смеетесь? — спросила старушка.— Надо мной или над Махдумом?

— Над тобой, Гульсара, над тобой!..—сказал Мустафа.— Над кем же мне еще смеяться?

— А Назар Махдум? — чуть обиженно спросила старушка.— Над ним вы не смеетесь, он же старше Меня на целых пять лет.

— И над ним немного смеюсь, Гульсара,— утешил ее Мустафа.— Ты уж не обижайся, Гульсара, это я без злости смеюсь.

Мустафа вспомнил Назара Махдума, маленького словоохотливого старичка, о котором ни один галатепинец не мог думать без улыбки. Ходил Назар Махдум важно, заложив руки за спину,— не больше не меньше председательская походка! Страшно не любил сам работать, но каждый день без всякой на то надобности выпроваживал на улицу, к большой яме под дувалом, своих внуков и заставлял их месить глину. Внуки работают, а Назар Махдум гордо расхаживает по краю ямы и заговаривает с прохожими...

— Эй, Саламбай! — кричит он.— Проходишь тут мимо моего дома, а где твой салам? Нехорошо, Саламбай, нехорошо! Думаешь, я тебя самого увидел, так мне от тебя и салама не надо?

Салам кисло улыбается — он сколько помнит себя, постоянно слышит эту шутку Назара Махдума, связанную с его именем.

— Салам-aleyкум, дед Махдум! — говорит он, подойдя поближе.— Не уставать вам желаю! Вижу, работаете тут...

— А! Какой из меня работник! — отмахивается Назар Махдум и, довольный собой, продолжает ходить взад-вперед по краю ямы.— Видишь, Саламбай, какие у меня внуки, не парни, а настоящие дэвы!..— он показывает на лоснящиеся от пота спины подростков в яме.— Это я раньше работал, а теперь, слава богу, эти ребятки избавили меня от всего. Но, Саламбай, что поделаешь, человек я, как ты сам знаешь, привыкший к труду, не знаю ни минуты покоя! Не могу я сидеть дома, Саламбай! Сам удивляюсь, почему это мне не сидится дома. Ведь я мог бы

и дома посидеть, а?

— Быть пиру в вашем доме, почему это вам не сидится дома, дед Махдум? — спрашивает Салам.— Не лучше ли дома-то посидеть?

— Лучше-то оно лучше, но не могу,— с достоинством отвечает Назар Махдум.— Сам подумай, всю жизнь я трудился и вдруг сидеть дома? Нет, Саламбай, такое не по мне!..

После такого разговора прохожий, если он коренной галатепинец, как этот Салам, невольно начинает думать: ведь этот Назар Махдум в жизни пальцем не ударил. А если прохожий случайный человек, то он невольно посмеется, глядя на маленькую фигурку Назара Махдума, да еще пожалеет его, а, может, подумает, что вот, мол, старичок был некогда богатырем, но перетрудился и стал теперь таким тщедушным после своих адских трудов— Прямей бейте кетменем! — поучает тем временем Назар Махдум своих внуков—Прямей бейте и черенок держите покрепче! Наискосок кетмень не берет землю! Горе мне с вами, несмышлениши, даже этого вы не знаете!..

Бедные внуки не смеют ослушаться деда, бьют кетменем прямо, как им приказывают. Земля твердая, словно камень, ее и наискосок-то не больно возьмешь, а когда бьют прямо, кетмень и вовсе не лезет. Но Назару Махдуму нет до того дела, он доволен собой и гордо взирает на прохожего.

— Они еще совсем глупые,— говорит он,— силушки поднакопили, а опыта никакого... Вот я... Да что я? Ведь заслужил же я наконец право поваляться немного в тени карагача? Заслужил. Я свое отработал, с меня теперь и спросу мало. Только из-за них вот и держусь, Саламбай, из-за них пока и не сдаюсь смерти!.. Смотрите, какие дэвы! Не парни, а настоящие дэвы! Такая уж наша порода — работать мы любим! На что им моя сила? Им скорей нужен мой опыт, нужен мой старый, но ясный ум! Ведь не зря я потрудился столько на этой земле!..

Прохожим всегда бывает жалко внуков Назара Махдума, и они стараются избегать таких разговоров.

А что до стариков галатепинцев, то для них это потруднее. Как-никак Назар Махдум человек их круга. А старикам не очень по вкусу, когда люди помоложе посмеиваются над их товарищем. Иногда, правда, они пытаются сказать Назару Махдуму, чтобы он особо не кичился, люди-то не дураки, сейчас такое время, что будь ты хоть богом, тебя вмиг раскусят и сразу скажут, сколько кусков мыла дадут за тебя. Но Назар Махдум не любит, когда его учат, он сам любит учить, потому и все старания стариков галатепинцев тщетны. Какой был, такой и остался — лентяй и хвастун. А когда его сын в городе стал большим начальником, Назар Махдум и совсем голову потерял, будто это не сын его, а он сам стал начальником и тоже начал разъезжать в большой машине. Однажды на свадьбу к Раиму Раису, что живет через двор от него, он прикатил на этой машине. Только вот Ибадулло Махсума он по-прежнему побаивается. Ибадулло Махсум, несмотря на свою общительность, совсем игнорирует Назара Махдума, видимо, он считает, что уже поздно с ним нянчиться. Отчасти он прав, куда теперь учить Назара Махдума. Семьдесят лет—это не семьдесят дней и даже не семьдесят месяцев, что прилипло, то уж не отлипнет...

— Бедная Зухра жалуется на своего мужа,— сказала жена Мустафы.— Ваш друг никому покоя не дает!..

— Да никакой он мне не друг, Гульсара,— возразил Мустафа.— Мы просто с ним одногодки, вот и заходит иногда...

— Не каждый день заходит,—уточнила старушка.— Только по субботам. Показать себя приходит, при сыне, в машине!..

— Ну это ты зря,— сказал Мустафа.— Будь у меня сын, а у сына машина, я бы тоже ездил. Назар уже старый человек, грех про него думать такое.

— Он завтра придет,—сказала старушка.—Сегодня уже пятница, а Хасан приезжает только в субботу.

— Кто его знает, может, завтра и не придет.

— Приедет, а как же?.. Весной он каждую субботу приезжает. Это он летом носа не кажет.

— Ну, летом понятно, жара, путь далекий...

— Жара, жара!..—передразнила Мустафу старушка.—Летом молочных барашков не режут, вот что!..

— Ты это брось, Гульсара!..—Мустафа недоуменно посмотрел на жену, словно впервые ее увидел.— Не ради одних барашков приезжает человек. Назар ему отец, Зухра — мать, вот к ним и приезжает.

— А вам очень скучно без вашего Махдума? — спросила старушка.— Вдруг Хасан завтра не приедет, что тогда будет?

— Скучно не скучно, а поговорить можно,— неопределенно ответил Мустафа.—Человек все-таки...

— Не будет Хасана—не увидите Махдума!..—со злорадством сказала старушка.— Он без машины и шагу не ступит!

Мустафа так и не понял, с чего это она ополчилась на Назара Махдума и его сына...

— Что он тебе сделал, Гульсара, пускай живет себе спокойно.

— Помните, когда сыновья Шадмана упекли Раима в тюрьму и поставили председателем брата Махдума? Ваш Махдум в то же утро пошел в колхозную конюшню и забрал себе белого скакуна Раима Раиса, Взял себе самого лучшего белого коня!

— Нет, Гульсара, неправда, он взял тогда гнедого жеребца,— улыбнулся Мустафа.— Конь Раима был похож на хозяина, чужих не признавал, так никого и не подпустил к себе после Раима. Пришлось отвезти его в Каттакурган и сдать на мясо. Назар выбрал себе тогда гнедого жеребца, но и на нем ему ездить почти не пришлось, быстро отобрали...

— Вот видите,— обрадовалась старушка.— А вы еще такого человека ожидаете! Не приедет Хасан, так и Махдума вашего не увидите вам как своих ушей...

— Хасан-то приедет наверняка...

— А если не приедет?

— Ну ты словно ребенок, Гульсара,— рассердился Мустафа.—Заладила себе, приедет, не приедет!.. Тебе-то какое дело? Приедет Хасан.

— А вот и не приедет!

— Брось ты, Гульсара, он приедет.

— Не приедет!..—чуть ли не закричала старушка и, быстро вскочив, стряхнула с платья белую известковую пыль и демонстративно вышла из дома.

Мустафа покачал головой ей вслед, будто бы осуждая, старуха, мол, а ведет себя как девчонка, пора бы и образумиться. Но на душе у него все же было радостно.

Назавтра Хасан все-таки приехал.

В этот день Мустафа с утра таскал воду из эмирского арыка, смешивал прошлогодний навоз с опилками и делал из этого месива круглые, с маленький тазик, таппи, чтобы зимою было чем топить печку. Он хотел было попросить племянника пособить немного, но нашел постель его уже холодной, видно, Усман или не ночевал дома, или куда-то ушел спозаранок. Других людей Мустафе не захотелось тревожить. Усман — это одно, он свой человек. Лучше уж одному работать, чем кого другого просить, так даже спокойнее.

Дело в том, что Мустафа сорок лет тому назад зарыл под этой кучей навоза целых полсотни эмирских золотых монет. С тех пор он каждые десять лет раскапывает богатство: убедится, что золото цело, и опять закопает. Монеты зарыты довольно глубоко, да еще навозная куча сверху,

не сразу доберешься. Они достались Мустафе от его отца, Хамракула, а тому от его отца, Нуркула, и вот уже сорок лет лежат в земле. Странное бывает чувство у Мустафы, когда он думает о золотых монетах, ведь их некому продать, если даже раскопаешь, не возьмут. Тридцать лет назад он вручил две монеты арабу Узаку, а тот дал взамен верблюда. Но Мустафа так и не научился обращаться с верблюдом, пришлось продать его колхозу. Остальные монеты, теперь уже, считай, сорок восемь, все еще покоятся в земле — у Мустафы и без них достаточно денег. Но, что ни говори, золото есть золото, а человек устроен так, что его лихорадит от одного только названия золота, то ли страх, то ли жадность, не поймешь. Стоит кому-нибудь повнимательней посмотреть на кучу навоза, и Мустафе сразу становится не по себе. Нет, он не боится, что золото отберут, пускай забирают, не велика беда. но ведь после всего начнут таскать повсюду, расспрашивать, откуда да почему. Попробуй докажи, как оно у тебя оказалось, хорошо, если поверят, а коли нет?... Что тогда делать? Ведь тебе не семнадцать, а все семьдесят, пора уже присматривать клочок земли поближе к предкам...

Занятый этими мыслями, Мустафа даже не заметил, как приехал Назар Махдум. Оглянулся, когда просигналили снизу, и увидел, что Назар Махдум уже поднимается к нему по узкой тропинке. Сын его, как всегда, сидел на берегу пруда под горбатеньким старым талом и терпеливо ждал возвращения отца.

Мустафа встал, весь испачканный навозом, и, опершись на черенок лопаты, стал дожидаться Назара Махдума. Наконец тот подошел к нему, остановился и чуть выжидательно посмотрел. С тех пор как его городской сын сделался начальником и сам Назар Махдум начал разъезжать в его желтой машине, он больше уже не здоровался первым. И на этот раз было так — он дождался, пока Мустафа его поприветствовал, затем важно обошел вокруг навозной кучи, остановился, снисходительно оглядел испачканную одежду Мустафы и только потом раскрыл рот:

— Здравствуйте, Мустафа, здравствуйте... Работаете, значит?

— Да вот...— ответил Мустафа, смущенно глядя на свои грязные руки.— Работаю... Таппи делаю...

— А я хочу купить коня,— сказал Назар Махдум— Пришел заказать вам потники.

Мустафа знал, что Назар Махдум боится лошадей с тех еще времен, как упал с гнедого жеребца, и уж наверняка не купит лошадь, и поэтому легко согласился:

— Вы сперва купите, а что до седла, так это мы сделаем за два дня.

~ Я просил потники, Мустафа,— сказал Назар Махдум.— Седло у меня есть. Отцовское, совсем крепкое.

Мустафа не ответил. Он уже видел отцовское седло Назара Махдума: старое и совсем не крепкое, ничем не лучше низкого калмыцкого, каким обычно седлают в Галатепе крупных ослов.

— Вы бы тут дорогу какую проложили,— сказал Назар Махдум.— Сколько я к вам ни езжу, машину внизу оставлять приходится. Ведь широкая дорога лучше, чем эта ваша тропинка?

— Конечно, широкая, она лучше,— согласился Мустафа.

— Тогда почему же вы не проложите широкую дорогу?

— Незачем,— ответил Мустафа.— Проложу, а она опять зарастет. Некому тут ходить-то по ней, наши коровы да мы со старухой...

— А Усман, ваш племянник?..

— Конечно, и Усман ходит, но все равно нас мало, дорога опять зарастет.

— Кругом одни колючки,— сказал Назар Махдум.— Могли бы убрать хоть эти верблюжьи колючки?.. Вырубите их, Мустафа, не оставляйте так, я бы на вашем месте...

— Еще рано их трогать, Махдум,— ответил Мустафа.— Они только в рост пошли, даже не

зацвели еще, подожду уж, пока сахару наберутся, иначе овцы не будут есть.

— Поймите, Хасанбек не может сюда подниматься,— продолжал свое Назар Махдум.— Он всегда внизу остается стеречь машину.

— Разве у него нет шофера? — спросил Мустафа.

— Шоферу платить деньги надо,— разъяснил Назар Махдум.— Но наш Хасанбек сам водит свою машину, а раз он сам водит, то государство может и не платить шоферу деньги.

— Выходит, он сам и за шофера получает?

— Нет, за шофера никто не получает,— объяснил Назар Махдум. Его немного злило невежество Мустафы, но все же он объяснил,— Ведь наш Хасанбек человек государственный, вот он и экономит государственные деньги.

Мустафа опять не понял Назара Махдума. Ведь у государства столько денег, подумал он, так зачем же отнимать немного денег у одного бедного шофера.

— У шофера, должно быть, тоже семья, дети...— несмело начал он.

— Хасанбека все уважают,— Назар Махдум не обратил внимания на слова старика.— Помните, Мустафа, я когда-то пришел сватать вашу дочь, а вы тогда не согласились. Потом наш Хасанбек поехал учиться. А вот сегодня, видите, он уже большой человек, все его уважают. Хорошо, что он не остался тогда в Галатепе.

Мустафа вспомнил, как Назар Махдум действительно ходил сватать его дочь за своего сына. Мустафа тогда не отказал, он просто попросил дать ему немного подумать. Очень совестно было с первого же разу согласиться, вдруг люди подумают, будто Мустафа рад избавиться от своей дочери, может, у нее там не все на месте?..

— Видать, судьба такая...—как бы сожалея, проговорил Мустафа.

— Хасанбек стал большим человеком,— повторил Назар Махдум и ободряюще похлопал Мустафу по плечу.— Ничего, Мустафа, вы только не думайте, будто я вас упрекаю. Разве вы знали, что так получится. Сейчас вы бы отдали за него свою дочь, правда ведь?..

— Может, и отдал бы...— поспешно кивнул Мустафа.

Снизу слышался сигнал. Назар Махдум обернулся и помахал сыну рукой, подожди, мол, я сейчас,— затем опять обратился к Мустафе:

— Вы о потниках-то не забудьте, Мустафа!..

Мустафа еще раз кивнул.

Назар Махдум пошел по тропинке вниз. Шагал он как всегда важно и ровно, чуть развернув плечи, и даже создавалось ощущение, будто человек идет по ровной плешине такыра, а не по крутому склону холма.

Проводив Назара Махдума, Мустафа сел на землю и бросил под язык щепотку насвая. И он, острый, жгучий, быстро подействовал, на него: чаще забилось сердце, на лбу выступили капельки холодного пота. Приятно закружилась голова... Хорошо думается, когда человек государственный, вот он и экономит государственные деньги.

Мустафа опять не понял Назара Махдума. Ведь у государства столько денег, подумал он, так зачем же отнимать немного денег у одного бедного шофера.

— У шофера, должно быть, тоже семья, дети...— несмело начал он.

— Хасанбека все уважают,— Назар Махдум не обратил внимания на слова старика.— Помните, Мустафа, я когда-то пришел сватать вашу дочь, а вы тогда не согласились. Потом наш Хасанбек поехал учиться. А вот сегодня, видите, он уже большой человек, все его уважают. Хорошо, что он не остался тогда в Гала-тепе.

Мустафа вспомнил, как Назар Махдум действительно ходил сватать его дочь за своего сына. Мустафа тогда не отказал, он просто попросил дать ему немного подумать. Очень совестно было с первого же разу согласиться, вдруг люди подумают, будто Мустафа рад избавиться от

своей дочери, может, у нее там не все на месте?..

— Видать, судьба такая...— как бы сожалея, проговорил Мустафа.

— Хасанбек стал большим человеком,— повторил Назар Махдум и ободряюще похлопал Мустафу по плечу.— Ничего, Мустафа, вы только не думайте, будто я вас упрекаю. Разве вы знали, что так получится. Сейчас вы бы отдали за него свою дочь, правда ведь?..

— Может, и отдал бы...— поспешно кивнул Мустафа.

Снизу послышался сигнал. Назар Махдум обернулся и помахал сыну рукой, подожди, мол, я сейчас,— затем опять обратился к Мустафе:

— Вы о потниках-то не забудьте, Мустафа!..

Мустафа еще раз кивнул.

Назар Махдум пошел по тропинке вниз. Шагал он как всегда важно и ровно, чуть развернув плечи, и даже создавалось ощущение, будто человек идет по ровной плешине такыра, а не по крутому склону холма.

Проводив Назара Махдума, Мустафа сел на землю и бросил под язык щепотку насвая. И он, острый, жгучий, быстро подействовал, на него: чаще забилося сердце, на лбу выступили капельки холодного пота. Приятно закружилась голова... Хорошо думается, когда насвай под языком, мысли теснятся одна на другую, и такое ощущение, будто думы сами думаются, а ты туг ни при чем. По всему телу разливается легкое опьянение, такое сладостное, что даже немного грустно становится. В двух шагах от тебя куча навоза, а под ней—золотые монеты, и кажется, будто они чужие и будто ты спишь и видишь их во сне. Очень странное это чувство, когда тебе вдруг кажется, будто золото ничем не отличается от навоза... С навозом, пожалуй, даже лучше, его хоть можно месить, делать из него таппи, протопить ими зимою печку... А от золота какой прок? Ведь и не продашь? Это так дико, так кощунственно—продать золото, продать деньги...

Мустафа выплюнул насвай из-под языка, сполоснул рот из стоявшего рядом медного кувшина, отдышался... Теперь он в соседстве золота с навозом вроде бы нащупал какой-то смысл, но он показался таким зловещим, что его до конца даже разгадывать не хотелось. Мустафе вдруг стало тревожно и неуютно. Желая отвлечься от неприятных мыслей, он встал и с двумя ведрами в руках поплелся к эмирскому арыку. Он принялся считать, сколько перетаскал ведер. За десять раз принес двадцать ведер, за двадцать — сорок, за тридцать—шестьдесят... Только после ста ведер он сел на прежнее место, немного отдышался, снова поднялся и стал утрамбовывать лопатой края разжиженной навозной кучи, выкопал рядом маленькую ямку, куда бы сливалась лишняя вода. Затем он опять сел отдохнуть. Но сколько ни старался не думать, противные мысли упорно лезли в голову... Ему было очень жалко, что эти золотые монеты так и останутся под землей. Дед умер, они остались, отец умер, они остались... Теперь вот Мустафа умрет—а они останутся... Проклятые монеты! Чтоб им сгнить!

Мустафа не выдержал, он опять вскочил, вытер локтем пот со лба и снова принялся за работу...

Мустафа страшно не любит покидать свой дом. Иногда, под каким-либо предлогом, сам угощает народ, иногда со стариком Хуччи и Ибадулло Махсумом ходит на свадьбы или на похороны, но все это, как говорится, дань тому, что ты человек и живешь среди себе подобных. А так, без крайней надобности, он почти никуда не выходит и ни с кем не общается. Изредка к нему приезжают дальние родственники из Бухары, каждый раз они просят его хоть недельку погостить у них, Мустафа каждый раз обещает, но ехать туда не едет. Бухарские родственники, те хоть далекими считаются и далеко живут, но даже со своими родными братьями, что в двух шагах от него, Мустафа видится не часто. Удивительно даже, когда они успели так отдалиться друг от друга. Пока были живы родители, братья казались неразлучными. И все говорили: вот

они, братья... Нишанбай, Мустафа, Пиримкул, Апсамат... сыновья Хамракула... внуки Нуркула... Дай бог каждому иметь таких братьев!

Разлад начался с Нишанбая, самого старшего из братьев. Когда началась революция, он уехал к Мадаминбеку. Он и Мустафу уговаривал уйти, но тот не согласился. Ему, еще молодому парню, непривычно было покидать родной кишлак, и он остался дома, подружился с Раимом, сыном Гайбара Заики, и ухватился за него, как малый ребенок за подол матери,— куда Раим, туда и Мустафа. Раим был тогда совсем молодой, сильный, храбрый, смерти еще не боялся. Подобрал он себе в команду тридцать горячих парней, и вместе они выступили против басмачей. Много тогда сновало вокруг басмачей: с запада шел Акбашкур-баши, с востока — Мамадали Пансад, каждый с сотней, не меньше, нукеров. Но с парнями Галатепе нелегко было сладить, они пустили в ход кинжалы, ружья, но приблизиться к кишлаку не дали. Вскоре из Каттакургона пришла подмога, Мамадали Пансада разбили. Раим взял с собой Мустафу, и они вдвоем поехали в пристанище Акбаша-курбаши, в древние пещеры, что в ущельях Паландары. Мустафа не надеялся вернуться живым, но оказалось, что басмачи уже были не те, ослабели вояки, обносились и могли теперь только выкрикивать бранные слова. Раим предложил им сдаться. Кто-то из басмачей согласился, кто-то стал возражать. Но к единому решению они так и не пришли. Раим был горяч, нетерпелив, увидя нерешительность и разногласия басмачей, он закричал:

«Ведь все люди отвернулись от вас, на что вы надеетесь, сукины вы дети!.. Всего жить вам осталось считанные дни, какого вы черта ломаетесь, будто бабы! Сдавайтесь, кладите оружие и катитесь на все четыре стороны... Так уж и быть, простим мы вам, сукиным детям, ваши грехи. Всем простим, кроме курбаши!.. А вашего Акбаша расстреляем под забором, как собаку!..»

Басмачи стали смеяться. Кто-то даже сказал:

— Не петушись, сын Заики! Был бы здесь Акбаш, он бы пикнуть тебе не дал. Содрал бы с тебя шкуру на чучело!..

И тут, словно сама судьба, подъехал к пещерам, окруженный свитой, Акбаш-курбаши.

— Приведите-ка сюда того щенка. Сына вшивого Гайбара Заики,— потребовал он.

Раима и Мустафу вывели к курбаши. Акбаш сидел на саврасом высоком коне старый, седой, в богатой одежде. Увидев Раима, он прикрикнул:

— Эй, ты, красный ублюдок, чего приперся морочить им головы? — и, вынув из ножен саблю, помахал над головой.

Мустафа насмерть перепугался. «Ну, вот и все,— мелькнула мысль,—теперь он и меня, и Раима разрубит». Но рука Акбаша, маленького тщедушного старичка, который ни разу в жизни не рубился, быстро устала, он убрал саблю в ножны и вынул висевший на боку маузер. Старик был разгневан и наверняка застрелил бы их обоих, но нашлись люди, знавшие Нишанбая, брата Мустафы. Нишанбай служил у Мадаминбека, у самого умного курбаши, как тогда поговаривали люди. Акбаш, узнав об этом, разозлился еще больше, но все же сдался — назначил каждому по двадцать розог и отпустил.

Неделю спустя басмачи сами приехали в Галатепе и привели с собой избитого связанного Акбаша. Они передали курбаши Раиму, а сами, как было договорено, разошлись по кишлакам.

Акбаш сказал Раиму:

— Я тебя, красный, не убил, и ты меня не убьешь. И бить ты меня не будешь, меня уже мои же щенки потрепали...

Но Раим был непреклонен, он сам продиктовал писарю сельсовета мулле Саттару приговор: «Именем революции... расстрелять как вредного и ненужного элемента!..»

Потом Ачил, помощник Раима, вывел Акбаша на окраину кишлака, к зимовью сбежавшего бая и разрядил в курбаши винтовку. Мустафе дали кетмень и велели закопать труп Акбаша.

Мустафа завернул труп в старую кошму, нагрузил на осла и повез на кладбище. Но сторож Карим, он же могильщик, наотрез отказался пустить их за ограду.

— Твой Акбаш не человек, — сказал он, — я не могу пустить его к людям.

Пришлось Мустафе ехать в Кзыл-Таш. Там он похоронил курбаши под стенами старого рабата. Вырыл маленькую ямку, положил туда мертвеца и кое-как засыпал землей. Но на обратном пути ему стало жалко Акбаша, ведь того даже не омыли, не отпели, бросили в яму, как бездомного пса... Мустафа вернулся к рабату, выкопал рядом новую могилу, глубокую, с широким сводом сбоку, и похоронил Акбаша. Обложил холмик камнями, потом даже прочел аят, стоя на коленях у могилы. Долго-долго не мог он забыть, как хоронил тогда старого курбаши, ему все казалось, будто он поступил с мертвецом не так как полагается. Только тогда и успокоился, когда родственники откопали и увезли прах Акбаша к себе...

Вскоре поймали и брата Мустафы—Нишанбая. Честно говоря, его даже не ловили. После того как Куршермат-курбаши отрубил Мадаминбеку голову, Нишанбай сам вернулся в кишлак. Пришел пешком, без оружия, очень подавленный, остановился не дома, а у молоденькой вдовушки, где его и взяли. Нишанбай не сопротивлялся, спокойно дал себя связать, но, когда его вывели на улицу, он все же не выдержал и грустным голосом попросил отпустить его к туркам. Больше он не проронил ни слова. Раим не стал его расстреливать, кажется, он пожалел Мустафу. Нишанбая отправили под конвоем в Каттакурган, откуда через месяц пришла весть о его расстреле. Мустафа поехал в Каттакурган на арбе и выпросил тело брата. На этот раз сторож кладбища Карим оказался не таким строгим. Он долго смотрел в суровые, отрешенные лица Мустафы и его братьев, потом сам помог им выкопать могилу. Нишанбая предали земле по всем обычаям, омытого, с молитвами...

Мустафа очень любил брата. После его расстрела он возненавидел Раима, пошел к нему домой, полный обиды и гнева, пришел и застал того в постели с простреленной грудью, харкающего сгустками крови... И он пожалел Раима и опять встал на его сторону. «Видно, так мне на роду написано, — подумал тогда Мустафа, — оказался с ними в одной упряжке, теперь идти мне с ними до конца».

Через год в Галатепе организовали первый колхоз. Раима выбрали председателем, Мустафа стал его помощником. Вспоминаются теперь те годы, и не верится: будто все это было не с ними, а с кем-то другим. Ведь ничего тогда не имели, кроме голых рук и страстного желания трудиться. Все создавали из ничего! Раим был горячий, словно огонь. Поднял он галатепинцев, и все они, и стар и мал, все как один, вышли в Джамскую степь пахать дикую землю из-под бурьяна и горькой полыни. Раз в неделю люди возвращались в Галатепе, и то не всегда и не все, спали прямо на открытом поле, положив головы на свежие межи, пахнущие полынью и сырой землей. Ночи бывали прохладными, но днем такая жара — губы трескались. Воды было мало, ее отдавали в первую очередь младенцам и их матерям... Мустафа сколько раз видел, как молодые женщины, обнажив груди, прижимались к прохладной свежераспаханной земле, чтобы хоть немного унять жажду. Трудно пришлось людям. Мустафа и Раим работали рядом, каждый со своей парой волов. У одной пары в поводьях шла Анзират, жена Раима, у другой — Майрам, жена Мустафы, вели они за собой свои пары, а их мужья сзади, нажимая изо всех сил за ручки сохи, вгрызались в дикую степную, в давно переставшую родить землю. Не успеешь осилить и батмана, а уже меняй сошники. Даже железо не выдерживало... Трудно было, эх как трудно! Железо крошилось, а человек выдюживал... Одна борозда, почти незаметная в высоком бурьяне, пролегла на поле, смотришь, вторая, третья... все вширь, вширь расходятся крути, и вдруг—целое поле вздыбилось и задымило черным паром!..

Мустафа в те времена еще не знал, что такое усталость, он мог бы шагать за волами хоть целые сутки, но и он все же время от времени останавливался, отрывал грудь от сохи и кричал

жене:

— Постой, Майрам, осади волов, я больше не выдержу!.. И ты, эй, Анзират, остановись... Раимбай, заставь жену передохнуть!..

Но отдых был нужен не так ему и женщинам, как Раиму с его старой раной. Раим не садился отдыхать, ему, мужчине, было совестно показывать свою слабость, он наверняка знал, что не встанет, стоит ему сесть, и поэтому, еле держась на ногах, оперевшись на могучие шеи волов, делал вид, будто осматривает ярмо... Женщины уходили к палаткам на другой конец свежей пашни, Анзират принималась кормить грудью маленькую дочку, Майрам присаживалась посидеть немного с заскучавшим сыном. Сыну Мустафы тогда исполнилось пять лет. Временами, любуясь, как сын его бегаёт за крупными, залетевшими с сырых тугаев, стрекозами, Мустафа говорил Раиму:

— Видишь, Раим, пашем мы тут с тобой, а дети наши тем временем растут, дай-то бог, чтоб у них сложилось все получше нашего!.. Дети подрастут, мы чуть-чуть постареем, и вот однажды приду я к тебе...

— Покороче, Мустафа,— смеясь прерывал его Раим.— Я знаю, что ты собираешься сказать: придешь сватать мою дочь, будешь точно так же нудить... Ладно уж, Мустафа, так и быть, выдам я дочку за твоего сына!..

Но сыну Мустафы не суждено было жениться на дочери Раима. Восемнадцати лет он ушел воевать с немцами. Мустафа никогда в жизни так не боялся смерти, как в те годы. Нет, не за себя он боялся, он думал о сыне, о молодом, восемнадцатилетнем веселом парне, каким он запомнил его в последний раз. Долгими ночами Мустафа молил бога: «О, господи, верни мне Базара живым, если тебе нужна чья-то жизнь, возьми лучше мою, но верни мне Базара, пускай он даже не увидит меня, пускай он только вернется живым...» Но, видно, молитвы Мустафы не дошли до бога — Базар не вернулся.

Потом Мустафа потерял жену Майрам. И женился на Гульсаре. Ведь должен же хоть кто-то испечь в доме хлеб, разжечь огонь в его очаге, присмотреть за маленькой дочкой. Теперь дочь уже замужем. Лет десять прошло, как Мустафа не видел ее. Честно говоря, он и не хочет ее видеть, так уж получилось, лучше о ней не думать. Отчасти и из-за нее он не заходит во многие галатепинские дома. А братья,— кто полюбил богатство, кто женщину, кто еще чего, и вот сегодня, глядишь, не такие уж все они братья, каждый живет сам по себе. Был еще племянник — сын Нишанбая, но тот забыл о своих родственниках по отцу. Ушел с матерью к ее братьям. Братья матери дали ему кров, братья матери женили, теперь он от них ни на шаг. И горе и счастье — все пополам. А до братьев отца ему и дела нет, повстречает — поздоровается, и на том спасибо.

Мустафа давно привык к этому, миру, все перечувствовал, все перевидал, никого он не упрекает и ни на кого не обижается. Иногда в летнее время ходит на кладбище навещать родных. Присядет у могилы отца, пошепчет молитвы, поговорит... «Вот один я остался, отец, была мать, были вы, были родные братья, а теперь стали просто родственники...»

Так говорит Мустафа. А могила отца безмолвствует. Все вокруг безмолвствует. Никто ему не отвечает. Мустафа медленно поднимает голову, оглядывает другие могилы... Рядом могила его деда Нуркула, чуть правее, у ног отца, могила Нишанбая... Дяди, двоюродные, троюродные братья... Две тети... И все по отцовской линии. Иногда Мустафа ловит себя на том, что считает могилы и начинает молиться. За отцовской могилой есть еще кусочек земли, заросший густой, в пояс, травой. Мустафа берет серп и, принимается тщательно срезать ее. Когда трава скошена, площадка вдруг становится большой. Мустафа отмеряет на ней пять шагов — это для него самого, еще пять шагов — для Пиримкула, еще — для Апсамата. Но земли все еще много остается, широкий простор тянется аж до самого кладбищенского дувала. На кладбище все

торжественно, спокойно, с боков встали высокие молчаливые холмы, сверху чашей повисло небо. Кладбищенская тишина успокаивает Мустафу. Ему не страшно, что он себе и братьям отмерил будущие могилы. «Все равно ведь помрем,— спокойно думает Мустафа,— кто раньше, кто позже, но все там будем. Только я уйду первым, первым пришел в этот мир, первым и уйду». Мустафа сознает справедливость такого порядка, и ему на какой-то миг становится даже легко при мысли о смерти. Ни о чем другом он больше не думает. Другие мысли тут, на кладбище, кажутся малозначительными, ненужными... Что тут странного, ты умрешь, тебя похоронят, он умрет, его похоронят, Вон сколько тут зарыто людей, и все они когда-то были живые, потом умерли, потом их похоронили... И вот теперь спокойно лежат в земле. И даже не верится, что они когда-то могли обижать или обижаться, радовать или радоваться. Всех их сравняла смерть, мужчин и женщин, богатых и бедных, добрых и злых,.. Все хорошее и плохое остается здесь, в этом мире. Конец всему именно здесь, на кладбище, где обрываются все дороги, куда бы они ни вели. Все человеческие дрызги покоятся под этими вот маленькими холмиками, потом, для уверенности, их придавят плоским камнем, на котором напишут твое имя, кто ты, чей, откуда... Это хорошо, когда на камне есть твое имя, взглянет прохожий и подумает мимоходом, вот, мол, и такой человек жил, оказывается, на этом свете...

Недавно, после похорон своего сверстника мельника Алима, Мустафа наконец решил заказать себе могильную плиту. Дал Усману двести рублей на мрамор и еще пятьдесят на дорожные расходы и еду. Утром Усман поехал в Самарканд и исчез на целых три дня. На четвертый день утром все же, наконец, объявился, но вдрызг пьяный, еле держался на ногах. Вошел в дом, упал на ковер возле неразобранного сандала и заснул мертвым сном. Долго спал Усман. Только под вечер, перед возвращением стада, очнулся, кое-как дополз до стены, прислонился спиной и сказал старухе Гульсаре:

— Позовите старика, пускай войдет!.. Мустафа сидел перед домом, рубил жмых для коровы. Он вошел в дом, держа топор в измазанной кунжутным маслом руке.

— Ура, явился меня зарубить! — радостно воскликнул Усман.— Смотрите-ка, старик пришел меня зарубить, ура!!

Мустафа смутился. Бросил в угол топор, присел на край ковра рядом с Усманом.

— Деньги мы пропили, дядя,— сообщил Усман.— Так и быть, теперь аллах запишет на наш счет парочку ваших грехов.

Мустафа промолчал. И что он мог сказать, раз Усман ему не чужой человек, а племянник, сын его родного брата. Что ты ему скажешь?

— Значит, деньги мы пропили...— повторил Усман,

— Зря ты так, Усманбай... Мог бы привезти мне камень...

— Я не привык врать, дядя,— сказал Усман.— Слушайте, дядя Мустафа, вы ведь поверили бы, скажи я вам, что плита будет готова через неделю? Ведь поверили бы, а?

— Поверил бы, Усманбай...

— А я вот не стал вам врать,— сказал Усман.— Пропил деньги, так и сказал. Правду сказал. Разве плохо, когда говорят правду?

— Хорошо, что ты сказал правду,—признался Мустафа.—Но было бы еще лучше, если бы ты привез кусок мрамора...

— Не горюйте, дядя, я еще привезу вам самую большую плиту,— пообещал Усман.— Три локтя в ширину, пять локтей в длину — самую большую плиту'

— Нет, Усманбай, это очень много для меня,— сказал Мустафа.— Зачем мне такой большой камень? Хватит и поменьше.

— Нет, я самую большую плиту привезу и поставлю на вашу могилу! Вот попробуйте тогда сказать, что Усман вас обманул. Я вас не обману, дядя, для меня это все равно, что отречься от

своего имени!.. Да лучше уж расстаться со своим именем, чем вас обмануть!

Кажется, эти слова вконец разжалобили Усмана, в его глазах заблестели слезы. Мустафа больше не мог обижаться на племянника.

— Да ты уж не утруждай себя, Усман,— сказал он.— Откуда тебе взять столько денег?

— В Сырдарью поеду, дядя,— сказал Усман.— Не могу тут больше. В Сырдарье земли много, а председателей мало, раз-два и обчелся. Только я считать не умею, но это не беда, найму два лишних учетчика, они за меня и будут считать.

— Тебя не сделают председателем, Усманбай,— сказал Мустафа.— Ты неплохой парень, но вот слава о тебе плохая... Ты бы хоть поменьше пил...

— А если брошу пить, выберут меня председателем? — спросил Усман.

— Бог его знает, Усманбай, вряд ли...

— Ведь так и погибнуть можно, дядя!..—сказал Усман.— Может, и я перестал бы пить, если бы выбрали меня председателем. Вот Камал Раис ведь не пьет?

— У Камала большой желудок, ему нельзя.

— А-а! Все равно... Будь я председателем, начисто бы завязал! А сейчас в моем положении...—Усман вовсе упал духом.— Кому я сейчас такой нужен? Помру, некому и поплакать над моей могилой. Сейчас я никому не нужен. А был бы я председателем, одному зарплату побольше дашь, другому барана подешевле уступишь. Ведь это хорошо, дядя, когда ты людям добро делаешь!.. И они рады, и ты сам рад, и все вокруг тебя рады и счастливы! Посмотрите на меня, дядя, неужели я похож на зверя, ведь я человек, дядя, такой же, как вы!..

Мустафа украдкой взглянул на племянника. Усман все еще был пьян. Только в глазах засела давняя грусть, и, кажется, ее никакой водкой не заглушить. Не повезло парню, жалко, тысячу раз жалко, но не повезло ему, кажется, с самого начала. В двадцать лет он ни с того ни с сего вдруг влюбился в старшую дочь счетовода Тилло, влюбился и взбаламутил все Галатепе своими песнями. Нараспашку и грудь и душа, бродил Усман по кишлаку, точно блаженный дядя Мурад, пел о ней песни, думал о ней думы, горел в любви, тонул... всяко пробовал, но ничего не помогло. И всю свою обиду вложил парень в песню. Иногда даже казалось, будто он решил мстить самой песне — с таким надрывом пел человек! Чуть свет, а Усман уже шастает у ворот Тилло со своей песней, вечером — опять мозолит глаза со своей песней... Пел он о ней по-разному, то хвалил, то проклинал, но неизменным в его песнях оставалось одно: Усман выбрал эту девушку из тысячи тысяч, и без нее, любимой и проклятой, он ни дня не может прожить — погибнет...

В Галатепе до Усмана никто не пел о любимых во всеуслышанье. Первым запел он. У других было попроще, они покоряли женщин втихую, пели тоже втихую, в одиночку или только вдвоем. Иные обходились и вовсе без песен. Но Усман даже с песней не смог покорить эту девушку. А может, любовь его потому и оставалась без ответа, что он пел?..

Мало нашлось таких, кто смеялся бы над его песнями. Однажды, после полуденной молитвы, когда зашла речь об Усмани, мулла Данияр — да продлится память о нем до самого судного дня! — не сумел совладать с собой, выругался прямо под сводами божьего дома, позабыв даже о своем звании. «И чего только надо этой счетоводовой сучке? Может, Усман для нее не хорош? Может, ей надо кого-нибудь из табуна Нормурада? Тилло глуп, как осел, не будь он глуп, давно бы справился, связал бы ей руки да ноги и бросил через порог. Была бы у меня дочь, не выдал бы ни за кого другого, а было бы у меня две дочери, обеих бы выдал за Усмана!..»

Назавтра мулла Данияр вместе с Мустафой пришли сватами к счетоводу. Самого хозяина дома не застали, вышла его дочь, та самая, которую они решили сватать, вышла, позабыв всякий стыд, закричала:

— Убирайтесь вон, я не собираюсь замуж. Мустафа повернулся было уходить, но мулла Данияр, добрая душа, его не пустил. Схватил за рукав и сказал:

— Нет, Мустафа, ее слова не в счет, есть над ней еще отец и мать и решать им. Не годится, если мы так и уйдем, не поговорив с ними. Люди знают о наших дедах, я еще с утра гонца прислал...

Мустафе пришлось последовать за ним. Войдя во двор, они направились к маленькой супе. Она оказалась голой, без паласа. Хозяева даже не удосужились ведерком воды смахнуть с нее пыль, хотя и знали, что появятся сваты. Увидя все это, Мустафа опять стал просить:

— Уйдем же отсюда, уважаемый, ничего хорошего у нас не выйдет...

Но мулла Данияр не согласился. Они присели на краешек пыльной супы и стали ждать, когда подойдет к ним хозяйка дома, которая в это время доила корову. Долго пришлось им ждать. А дочь ее, вместо того чтобы подменить мать и самой подоить корову, прислонилась к косяку двери и стала презрительно их оглядывать, будто это не люди уважаемые к ним пришли, а какие-нибудь там цыгане. Так и простояла, скрестив руки, грудастая, дерзко красивая, пока наконец не пришла ее мать. Мулла Данияр был человеком ученым, не зря десять лет проучился в бухарском медресе, он умел говорить с людьми, помнил все обряды, знал когда как надо поступать. Он развязал узелок со сладостями и двумя лепешками. Но жена Тилло тоже была не дура, она знала: отведать хлеба другого, значит, во веки веков быть у него в долгу. Она принесла свой дастархан и разломилась своей лепешку. Мулла Данияр не растерялся, с невозмутимым видом он взял кусочек хлеба и положил в рот. Долго жевал он этот кусок, никак не лез он ему в горло. Наконец мулла проглотил свой хлеб и заговорил:

— Вот пришли мы к тебе, Ойпарча, пришли с хлебом и с такими же святыми и дозволенными мыслями, как этот белый хлеб... Давай разломим теперь эту лепешку, и пускай одна ее половина останется у твоей дочери, а другую мы возьмем с собой и отнесем к будущему жениху...

Но Ойпарча, жена Тилло, не торопилась разломать лепешку, она сказала, что дочь ее еще молода и хочет учиться.

— Зачем ей учиться, Ойпарча?— удивился мулла Данияр.— Ведь учение дозволено богом для одних мужчин. Выдавай свою дочь за Усмана, а уж он наверняка прокормит ее хоть сто лет.

Ойпарча ничего не ответила. Она не сказала даже, что не вольна решать, пускай, мол, муж скажет свое слово. Норовистая была женщина, играла своим мужем как хотела, захочет, так тот запляшет под ее дудку на десять ладов. И сваты поняли, что Тилло никогда не пойдет против ее желания. Мустафе даже страшно стало при мысли, что придет вдруг человек и опозорится перед сватами, мужчина все же как-никак...

Прибрела к супе какая-то собака. Черная, смиренная, немного грустная. Собака к добру, подумал с надеждой Мустафа, пророк наш погладил кошку по спине, и она с тех пор никогда не падает на спину, и собаку он благословил на верную службу Людям, хотел, чтобы она была с людьми в божьем раю и служила им... К добру это, дай бог, чтобы это оказалось к добру... И Мустафа, будто собака могла ему чем-то помочь, взял с дастар-хана кусок хлеба и бросил ей. Собака унесла хлеб подальше, съела и снова вернулась к супе, подобострастно виляя хвостом. Но Мустафа не стал больше отвлекаться, он взглянул на муллу Данияра и с его молчаливого согласия начал:

— Я родной дядя Усмана, пришел вот к вам сватать вашу дочь. Парень он неплохой, надежный... Правда, по молодости немного осрамил он вас своими песнями, но вы на него не сердитесь. Все это из-за любви к вашей дочери. Давайте, уважаемая Ойпарча, сыграем свадьбу, позовем все одиннадцать кишлаков вокруг...

Мустафа однажды уже ходил сватать. Тогда с там был не мулла Данияр, а Имам, тоже

мулла, но только из соседнего Шуркудука, родной дядя будущего жениха. Тогда мулла Имам говорил отцу девушки: давайте, мол, сыграем свадьбу, почтенный, и позовем се одиннадцать кишлаков вокруг Галатепе. После таких слов отец девушки враз согласился, встал, обнял муллу Имама, потом Мустафу, повеселел и стал говорить, что вот, слава богу, теперь они через жениха и невесту породнятся навеки, поздравил сватов с будущей свадьбой, затем сваты поздравили его... Все тогда шло прекрасно, по всем правилам, по-мусульмански. Сейчас Мустафа вспомнил про то сватовство и повторил слова муллы Имама об одиннадцати кишлаках. Но женщина на это не обратила никакого внимания. Тогда Мустафа сказал:

— Каждой девушке полагается жених, Ойпарча. И каждому парню полагается невеста, а потом жена, чтобы оберегать его очаг от дурного глаза, чтобы служить ему верой и правдой.

— А моя дочь не служанка,— оборвала его женщина.— У нее такие же права, как у мужчин. Вы не думайте, будто она какая-нибудь там забитая, ошибаетесь!..

Мустафу такие слова женщины глубоко обидели. Он и сам видел, что ее дочь отнюдь не забитая. Но так говорили испокон веков все сваты, про очаг, про верность... Пожалел он, что бросал перед этой спесивой женщиной такие хорошие слова.

— Ты хоть немного устыдила бы свою дочь,—попросил мулла Данияр.— Научи ее, чтоб не показывалась она при сватах-то. Должна же невеста немного робеть перед сватами!..

— Она человек вольный,—засмеялась женщина.— Вот я, женщина, ведь разговариваю с вами, почему же и ей не стоять здесь? Ваши законы давно устарели, мулла...

— Может, нам прийти, когда будет твой муж?—с последней надеждой спросил мулла Данияр.

— Да как хотите, дед мулла, дело ваше...— опять засмеялась женщина, знала, что муж у нее будет как попугай повторять за ней ее слова.

Сваты примолкли. Черная собака опять подошла к супе. Тихо заскулила и, точно больная, жалким комочком легла у супы, положив узенькую мордочку на ее край. Странно она сейчас выглядела—туловищем внизу, на земле, морда на супе, глаза несчастные, будто она что-то хочет сказать и не может... Мустафа, почувствовав недоброе, резко обернулся и увидел дочь Тилло. Та все еще стояла у дверей, опершись спиной о косяк, внимательно рассматривала браслет на смуглом запястье. Вдруг ее брови взметнулись вверх, она резко оттолкнулась от косяка и, тряся грудями, подошла к сватам. Собака вскочила и, жалко скуля, побежала прочь. Девушка схватила узелок муллы Данияра и швырнула его вслед черной собаке. Лепешки и сладости посыпались на землю. Собака на мгновение остановилась, взглянула на валявшееся в пыли добро, но не дотронулась, стремглав выбежала со двора, прижав между ног обрубок хвоста...

— Боже милостивый, покарай ее,— взмолился Мустафа.— Собака, и та поняла человека, но эта девица ничего не поняла, собаке совестно стало, а ей хоть бы хны... Покарай же ее, господь!

Дочь Тилло еще пять лет просидела в родительском доме — не нашлось больше охотников на нее. Не только свои, но даже из тех одиннадцати кишлаков вокруг Галатепе никто не пришел ее сватать. Но она все же добилась своего. Поехала в город учиться, в городе нашла себе ученого мужа. Кроме отца и матери, никто из галатепинцев не поехал на ее свадьбу...

Вернулись сваты домой подавленными. Мулла Данияр позвал к себе Усмана, который с нетерпением ждал их возвращения, и сказал:

— Выкинь эту дурь из головы, сынок, лучше на всю жизнь остаться холостяком, чем жениться на таком скорпионе...

Усман все понял и молча вышел из дома с опущенной головой. Мустафа тоже было хотел последовать за племянником, но мулла остановил его:

— Вы, Мустафа, чуть погодите, хочу вам сказать напоследок несколько слов.

Мустафа остался. И тогда мулла Данияр обратился к Мустафе со следующими словами:

— Запомните, Мустафа, раз женщины так сильно потянулись к благодати знаний, то пришел мужчинам конец, они уже выродились, не смогут больше влиять на женщин и не смогут больше прокормить их своим трудом. Еще ан-Наззам об этом говорил. Никто не отнимет знаний у человечества, но ученые исчезнут. А когда не останется больше ученых, хороводить будут глупцы. Заблуждаясь сами, они еще потянут за собой других... Живите, Мустафа, пока есть на земле умные люди...

В тот памятный вечер не слышно было песен Усмана. Люди напрасна ждали- до поздней молитвы — они уже привыкли к его песням, и без них странно тихими и пустынными показались улицы Галатепе. Усман больше не пел. До глубокой ночи сидел он на обратном склоне Коровьей вершины, и только потом, когда уже погасли все огни, озираясь как вор, вернулся по глухим оврагам домой. Вернулся и лег в постель. Но заснуть не смог, снова встал, вышел из дома, обошел весь кишлак, все его улицы и закоулки, словно собирался навсегда их покинуть, прошел и мимо голубых, ставших еще неприступнее, ворот счетовода Тилло. Только под утро воротился обратно и пошел прямо к новому дому в глубине сада, куда думал привести свою будущую жену. Дом освещала луна, окна и двери пахли и блестели свежими. красками, и весь он, белый, нарядный, казался мертвым и никому не нужным. Усман еще утром выровнял последнюю яму у стены, откуда брали глину. Теперь здесь валялся тяжелый кетмень, тускло поблескивая наточенным лезвием. Усман схватил кетмень и что было сил ударил им по стене дома, Стук разбудил собаку, и она тревожно заскулила. Заревел осел на задворье. Залились лаем другие собаки, затрубили другие ослы... Усман зло отшвырнул кетмень в сторону, принес из угла сада охапку сена и, разбросав по полу дома, чиркнул спичкой...

Одним словом, не повезло парню. После того как он в сердцах спалил новый дом, отец и мачеха прекратили с ним всякие отношения. Некоторое время он ночевал у старшего брата Расула. Тогда и запил в первый раз. Потом, крепко повздорив с Низамбаем, целый год проболтался где-то под Бухарой, то ли в Кермене, то ли в Учкудуке, говорят, обжигал там кирпичи. Вернулся оттуда и снова запил... Старший брат, стыдясь люден, построил для него маленькую лачугу под Коровьей вершиной, подальше от кишлака, чтобы Усман, живя там, не мозолил глаза. Но Усмана это не устроило. Уж если жить отшельником, так лучше всего в какой-нибудь пещере, сказал он и ушел в горы. Но долго не смог жить отшельником, вернулся снова в кишлак, однако не в расуловскую лачугу, а к Мустафе.

— Вот пришел теперь к вам, дядя, может, приютите до зимы.

Мустафа приютил, и стало их в доме три человека, как-никак, поуютней зажилось, поживей... Но и здесь Усман не сразу выправился. Снова запил. В кишлаке живет—пьет, в город отправится—и там пьет, дерется, в милицию попадает... Только два года, как Усман немного остепенился. Целый год совсем крепко держался, не пил... Подсобил Мустафе по хозяйству, потом все же пошел к Камалу Раису, просить какую-нибудь работу. Камал Раис ему не поверил:

— Ты опять запьешь, Усман, верить тебе нельзя. И, пожалуйста, без клятв, для пьяниц клятвы не существует...

— Это для шлюх и воров клятвы не существует,— ответил Усман.— А ты мне дай ферму, и увидишь, как через год я увеличу твое поголовье в два раза.

— Не мое поголовье, а скота,— поправил Камал Раис.— Нет, Усман, все же тебе нельзя верить. Учетчиком еще куда ни шло, а ты вон куда замахнулся, в завфермой метишь!.. Нет, брат, так не пойдет!..

— Да я бы рад и учетчиком,— сказал Усман,— но не люблю считать. Скучное это дело, Раис, ты бы меня лучше завфермой...

— Запьешь ты, Усман,— третий раз повторил Камал Раис.— Нельзя тебе верить.

— А как же тогда быть?—спросил Усман.—Я же целый год не пью. Ты мне хоть раз в жизни поверь, Раис, пойми, мне очень нужно, чтоб ты мне поверил, ведь я погибну, если мне не будут верить!..

Камал Раис немного смягчился.

— Ладно, приходи через день,— сказал он.— Может, суну тебя телятником к Мирзаеву. А про учетчика ты позабудь, это я так, для слова сказал...

— Иди ты к черту! — разозлился Усман.— Я к тебе как к человеку, а ты мне что предлагаешь, разве я баба, с телятами возиться. Уж лучше бы ты мне жабу какую дал, и то бы охотнее проглотил! Дай мне другую работу, пускай самую черную, но чтобы я чувствовал себя мужчиной!..

Не поладили они тогда с Камалом Раисом. Тот наотрез отказался дать Усману другую работу. Усман от злости снова запил на целых три дня. Огородился в комнате бутылками крепкого мусалласа и пил, никого к себе не пуская...

Потом все же не выдержал, опять пошел к Камалу Раису. К тому времени оба они немного отошли, и Камал Раис без лишних разговоров зачислил Усмана телятником. Так и тянет Усман по сей день, платят неплохо, работа вроде пустяковая. Утром напоит телят сывороткой из сепаратора, в полдень—опять сывороткой, вечером еще какой-нибудь бурдой, и иди себе домой. Одно хорошо, что есть у него какая-никакая работа. Правда, не для мужчины, но все же работа. Другое плохо: не может он до сих пор забыть дочь счетовода. У той уже дети взрослые, и сама она (Мустафа изредка видит ее, когда она приезжает с мужем в гости к родителям) стала совсем другой, располнела, расползлась вширь, вроде бы не на что поглядеть. Но что поделаешь? Любовь зла, чужая душа потемки, а человек все видит так, как сам того желает. И вот Усман никак не может ее забыть, увидит — и сам не свой становится.

Многое хочется сказать Усману... Усадить его перед собой и сказать примерно так: «Эй, ты, человек, сын человека, вроде бы вовсе и не дурак, так зачем же зря себя мучаешь? И вообще, стоит ли из-за одной вздорной бабы терпеть столько позора? И стоит ли она твоих страданий? Свет на ней клином не сошелся!.. Присмотри себе другую и женись. Только на девушек не заглядывайся. Время твое уже прошло, ты уж не молод, и будь у тебя хоть помет золотой, девушек ты не прельстишь. Но ты не отчаивайся. Вон сколько разведенных женщин вокруг — выбирай любую, а не хочешь иметь дело с разведенными, посватайся к вдовушке, есть и такие. Кому ты, собственно, мстишь? Времена Фархада и Меджнуна давно миновали. Кто сейчас бьется головой о камни из-за женщин? То были другие женщины, они стоили того, чтобы царевичи гибли из-за них! Но ты-то не царевич, Усман, ты всего-навсего сын Пиримкула Скряги, сборщика земельных налогов, ты только племянник Мустафы, обычного человека, и та твоя избранница не была царевной. Назло клопам постели не сжигают! Не позорь себя, Усман, будь человеком!..»

К сожалению, все это надо не говорить, а кричать, Иначе Усман не услышит. Многие учили Усмана уму-разуму, многое вдалбливали ему в голову, вот и стал теперь Усман глуховатым, не сразу понимает, что ему говорят. Надо или криком кричать, или плакать. А Мустафа человек робкий, кричать он не умеет, и плакать ему как-то непривычно... Даже те слова, что он хочет высказать своему племяннику, произносит только про себя или совсем тихо и смущенно. Никого у Усмана не осталось, кроме Мустафы. Родители, те давно уже от него отказались, даже видеть не хотят. И у Мустафы никого, кроме Усмана, нет. Зачем же ему такие горькие слова говорить? Зачем терзать душу? Думает об этом Мустафа и молчит. Молчит и горюет про себя. А старуха Гульсара все пристаёт да пристаёт, поговорите, мол, с Усманом, скажите ему, пускай больше не пьет. Ладно бы говорила она это просто так, как чужие люди, но нет, говорит, а сама

плачет — душа у бедной старушки болит за Усмана. В такие минуты весь мир чернеет перед глазами Мустафы. И он утешает старушку... «Не убивайся, Гульсара, что я могу ему сказать, авось вразумит его господь бог».

Вскоре после того злополучного случая с могильной Усман три дня не ночевал дома. Мустафа только через других узнал, что засел он в каморке базарного сторожа и режется в карты. Все три дня старики держали его долю в казане, вдруг образумится, придет, поест. Мустафа эти дни ходил сам не свой, ни к какой работе притронуться не мог, то выйдет из ворот, посмотрит в сторону базара, то опять вернется и возьмет шило, но делать ничего не может — муторно на душе. Вдобавок ко всему истерзали его причитания. Гульсары, все плачет старуха да плачет, клянет себя, свою судьбу, клянет Саломат, мачеху Усмана. Почему женщины, не сумели приглядеть за Усманом, это из-за них он пропадает... Не вытерпел Мустафа, отправил сына Камиля Письмоноши за Усманом. Слава богу, Усман не пренебрег просьбой старика, пришел домой после полудня, голодный и невыспавшийся. Пришел, сел...

— Я тебя звал, Усманбай... — промолвил Мустафа

— Говорите, дядя...

Сказал «говорите», а сам не смеет взглянуть в глаза Мустафе. Жалко стало старику парня. «Пугливый какой стал, — подумал Мустафа, — видно, от упреков, вот даже в глаза мне смотреть не может». Так и просидели они ми нут пять молча. Наконец Мустафа сказал:

— Может, деньги тебе нужны, Усманбай, ты скажи...

Усман очень устал. Он кинул носом, но тут же очнулся, как от испуга.

— Деньги нужны, — пробормотал он. — Сто рублей мне нужны. Проигрался я в карты, дядя, не повезло мне сегодня. Вчера выиграл триста, а сегодня опять все спустил до копейки...

— Кто же обыграл тебя?

— Мясник... Бако...

— Зачем ему деньги? — удивился Мустафа. — У него и так их девать некуда.

— Деньги нужны всем, старик, — объяснил Усман. — Но мир этот так несправедливо устроен. Деньги идут к тому, у кого их много. Странно как-то, у него денег полным-полно, просто преют они под подушками, а у тебя ни шиша, и ты все равно проигрываешь...

— А ты не играй в карты, тогда и проигрывать не будешь.

— А что мне еще делать, дядя? — удивился Усман. Мустафу вопрос парня поставил в тупик.

— Поменьше играй, — сказал он немного погодя.

— Ладно, — неожиданно согласился Усман. — Завтра же брошу, дядя. Но мне сегодня надо выиграть хоть сто рублей. Мне уже осточертело проигрывать, дядя, поймите, противно так, все время проигрывать!..

Усман опять ушел играть в карты. Выиграть сто рублей ему не удалось. Вернулся он домой расстроенный и весь по горло в долгах. Назавтра Мустафа погнал двух баранов на базар. Усман стоял в стороне, пока дядя продавал своих гиссарских баранов, потом взял деньги и отнес их мяснику Бако. Домой они возвратились вдвоем. По дороге ни он, ни Мустафа не проронили ни слова. Обоим было стыдно и неуютно. Мустафа ехал впереди на своем сером осле, Усман — пешком, в кирзовых сапогах плелся сзади, отставая все больше и больше.

На полпути, проезжая мимо ворот Назара Махдума, Мустафа немного придержал своего осла и стал ждать, пока подойдет Усман. Скажу ему, твердо решил Мустафа, пускай только подойдет, скажу ему так: сынок, ты только больше не уходи от нас, денег я тебе дам, не хватит денег, вон, в земле лежат эмирские золотые, достань их, трать сколько хочешь. Все, что мое, — твое, Усман, бери все и женись, а мы со старушка будем нянчить твоих детей... Ты все у меня забери, Усман, и пускай мне выколют глаза, если я хоть словом тебя упрекну!

Усман поравнялся с дядей, остановился и посмотрев на него рассеянным, бесконечно

усталым взглядом. Но Мустафа ничего ему не сказал, оробел, из головы вылетели все слова... Усман с минуту постоял перед нима, затем резко повернулся и зашагал прочь от дороги по тропинке, что ведет по пустырю в сад старика Хуччи. Но все же не решился далеко уйти, на полдороге обернулся и увидел дядю посреди дороги, по-прежнему косо сидевшего в седле серого осла. Усман опять вернулся и стал перед дядей, растерянный, несчастный. Мустафа смутился и суетливо ударил осла по шее:

— Хых, хых!..

Но голос его прозвучал так слабо, что хитрый осел даже и не подумал сдвинуться с места. Мустафа острым концом палки ткнул его в самый круп. Осел отчаянно припал на левый бок, потом выправился и побежал рысцой... Усман двинулся за ним. «Чем виновато это бедное животное,— подумал Мустафа.— Он же не виноват, что у нас все так нескладно получается...»

Наконец они вернулись домой. Мустафа снял с седла полный хурджун с покупками, и старуха повела осла к привязи. Мустафа вынул из хурджуна покупки: изюм, халву, килограмм зеленого чая, отрез ситца для старухи, а хурджун с оставшейся зеленью и овощами бросил под супу.

— Перец вот забыли купить, Усман,— сказал он.— У меня ума совсем почти не осталось, ты хоть напомнил бы...

— А у меня ума вообще нет,— ответил Усман. Мустафа засуетился. Подумал, вдруг войдет сейчас Гульсара и совсем некстати затянет свою вечную песню...

Так оно и случилось. Старушка вернулась с подворья, куда отводила осла, присела на край супы и спросила:

— Сколько дали за баранов, Усманджан? «Дура!—подумал Мустафа.—Усману и без тебя тошно, а ты к нему с такими вопросами лезешь?» Ему захотелось выбежать со двора. Лишь бы никого не видеть: ни старухи, ни Усмана, ни самого себя... Выбежать со двора и уйти куда глаза глядят... Перемахнуть перевал, добраться до Сарсана, а там еще дальше в горы уйти, заблудиться, забыться...

— Ты пока раскрывай дастархан,—сказала старуха.— Я пойду за чаем...

А сама никак не уходит, смотрит, не спуская глаз, на Усмана, жаль ей его, не хочется одного оставлять... И с глупого языка опять срываются слова, которых не надо было бы говорить.

— Устал ты, поди, Усманджан, вон как осунулся весь... Рано поднялся на базар. Усман молчит.

— Рыжий баран-то был поплотнее,— говорит тем временем старуха.— За него-то вам хоть получше заплатили?

Усман опять молчит.

— Иди, принеси нам чай, Гульсара,— не вытерпел Мустафа,— больно много ты стала говорить. Принеси нам лучше чаю. Страсть как пить хочется!

Старушка ушла. Мустафа со страхом понял, что опять один на один остался с Усманом.

— И ты иди, Усманбай,— сказал он.— Иди переоденься, грязный какой-то весь ходишь, доброму мусульманину стыдно с тобой рядом сидеть...

Усман удивленно посмотрел на старика. Ему показалось странным услышать такие слова от дяди. Но возражать он не стал, поднялся с супы и, волоча пыльные кирзовые сапоги, направился в дом.

Мустафа еле дождался, пока Усман исчез за дверью, потом поспешно надел кауши и вышел со двора...

Спустившись к пруду Ибадулло Махсума, Мустафа сел в тени старых талов, снял с левой ноги кауш, высыпал попавшие туда зернышки ячменя в воду. Пожелтевшая от таловых листьев вода в пруду вдруг ожила, пошла кругами от бесчисленных прыжков маленьких рыбок,

собравшихся под зернышками. Через минуту поверхность воды была уже чистой. Мустафа и из правого кауша высыпал зернышки ячменя, но не стал смотреть, как их начнут делить рыбки, обулся и прошел в другую сторону пруда. У арчовых ворот он увидел Ибадулло Махсума, сидевшего с грустным видом на лавочке. Старики поздоровались, потом Ибадулло Махсум сказал:

— А почтенный Хуччи продал своего скакуна. Дешево продал, как воду... Понимаете, всего за тысячу рублей продал! Я сам хотел купить, да не было денег. А хоть бы и были, все равно не купил бы за тысячу рублей, это ведь так дешево... Мне было бы стыдно перед Хуччи. А теперь новый хозяин меньше чем за полторы не отдаст.

— Тогда почему же продал за тысячу?—спросил Мустафа.

— Это почтенный Хуччи продал за тысячу,—сказал Ибадулло Махсум.—Теперь он уже не хозяин своему коню. Купил-то его кто, вы знаете? Салим, да-да, этот самый Салим Разбойник! А теперь он меньше чем за полторы не отдаст. Вы, Мустафа, знаете цену хорошему коню, скажите, сколько бы вы отдали за коня почтенного Хуччи?

— Я в конях совсем не разбираюсь,—ответил Мустафа.— Но конь у него вроде был неплохой... Тысячи на две бы потянул...

— Вот. А он за одну тысячу продал, Мустафа. Да что толку говорить!..

Ибадулло Махсум встал.

— Идемте,—сказал он Мустафе.— Идемте со мной, посмотрите.

Мустафа послушно пошел за ним. Они вошли во двор Ибадулло Махсума. Но хозяин не пошел к своему дому, а свернул налево, к хлеву. Заглянув в хлев, Мустафа увидел на земле каменных баб, какие-то вытесанные из камня головы.

— Вот, смотрите!..—сказал Ибадулло Махсум.

— Да, видно, такая уж работа у вашего сына,—Мустафа подумал, будто Ибадулло Махсум жалуется на своего сына, каменотеса, который недавно опять переехал жить в город.— Что поделаешь, раз у него такая работа...

— Нет, нет, вы туда посмотрите, Мустафа!..—показал Ибадулло Махсум в глубь хлева.

Мустафа посмотрел и увидел огромного белого осла.

— Вот,—сказал Ибадулло Махсум. Они снова вышли со двора.

— Все это бабьи козни, Мустафа,—сказал Ибадулло Махсум.—А так у меня есть свой осел, вы видели, черный, с такими отвислыми ушами, как у Турабая. Но я не мог отказаться и от этого белого. А знаете, как все получилось? Когда почтенный Хуччи продал своего коня, он купил двух белых ослов. Сам-то почтенный Хуччи не слушается баб, но у него есть сын, Иргаш, учитель, ясно, это он пошел у них на поводу. Я знаю, они давно надоедали почтенному Хуччи своими требованиями, продай коня да продай, зачем тебе на старости лет конь, упадешь и разобьешься, смотри, какой он у тебя резвый... Ну что из этого, что резвый, какой же это конь, если не резвый? Эх, Мустафа, я бы на его месте ни за что не продал. Теперь ему трудно придется. Салим Разбойник будет ездить мимо его ворот на его же коне, а почтенному Хуччи остается только смотреть...

Ибадулло Махсум сел на лавочку.

— Да, вот продал он своего коня и купил двух ослов,—сокрушенно продолжал Ибадулло Махсум.— Оба осла белые, пускай у нас с тобой будут одинаковые ослы, говорит, по свадьбам будем вместе разъезжать. Будь моя воля, я завел бы этих ослов в дом самого Иргаша, сына почтенного Хуччи, пусть бы там постояли с недельку, быстро бы он понял, каково вынуждать отца продавать коня. Что вы на это скажете, Мустафа, ведь я правильно говорю?

Ибадулло Махсум с надеждой посмотрел на Мустафу. Но тот молчал, не знал, что ответить.

— А я все равно откуплю у Салима Разбойника этого коня,—сказал Ибадулло Махсум.—

Душу свою заложу, а коня откуплю. Без коня почтенный Хуччи совсем зачахнет, трудно ему придется, Мустафа.

Ибадулло Махсум вынул из кармана халата маленькую тыквинку с насваем, высыпал щепотку на ладонь и бросил под язык. Остатки насвая на ладони смел кисточкой из козлиного хвостика, укрепленной в затычке. Но и насвай, кажется, не отвлек его от горестных мыслей, он быстро выплюнул его из-под языка и продолжал молча сидеть, низко опустив голову. Мустафа топтался рядом, ожидая, когда он заговорит.

— Ладно, я, пожалуй, пойду,— сказал Мустафа немного погодя.

— У меня на душе кошки скребут, а вы уходите,— сказал Ибадулло Махсум, не поднимая голову.— Могли бы немного и посидеть...

Мустафе все равно было некуда идти. Он легко согласился, присел рядом на лавочку. Оба долго молчали. На холме показался Усман. Он медленно спускался к пруду Ибадулло Махсума, ведя на поводке бычка.

Усман напоил бычка и пошел обратно по тропинке. Ибадулло Махсум некоторое время следил за ним, затем обернулся к Мустафе.

— А Усман-то как похудел, что твой цыган в долгую зиму, просто страшно смотреть на человека. Могли бы вы хоть получше о нем позаботиться? Я бы на его месте сжег за это ваш дом. И не только дом, еще и сад бы спалил.

— Сад не сгорит, Махсум,— тихо возразил Мустафа,— там всего-то несколько яблонь, да и те очень редко посажены, не будут они гореть.

Ибадулло Махсума такой ответ очень обидел.

— Что вы заладили, будут не будут. Сбросить бы мне годков двадцать, я бы и воду поджег. Почему вы думаете, что ваш сад не будет гореть?

— Так ведь трудно же, Махсум,— сказал Мустафа, словно оправдываясь.— Это же не сухие дрова, думаю, сразу не загорятся.

— Если надо, загорятся,— сказал Ибадулло Махсум.— Вы мне не возражайте, Мустафа, мне и без того мутно.

— Да я и не возражаю, Махсум,— сказал Мустафа.— Но вы зря говорите, будто я об Усмани не забочусь. Быть мне последним псом, если я перестану о нем заботиться!

Мустафа сказал это так резко, что даже сам смутился.

— Он ведь у меня словно сын, Махсум,— продолжал Мустафа уже более спокойно.— Видит бог, я душу свою не пожалею ради Усмана. Только вот старуха моя не всегда умеет умно сказать, иногда такое ляпнет.

— Старухи все дуры,— подытожил Ибадулло Махсум.— Вы мне о них лучше не говорите, Мустафа. Все они круглые дуры, что у вас, что у почтенного Хуччи, что у меня — все до единой дуры.

— Усман парень неплохой, жаль только, иногда выпивает.

— А вы его заставьте пни корчевать,— посоветовал Ибадулло Махсум.— Мой покойный отец частенько меня так наказывал, когда я приходил домой навеселе.

— Да неужели, Махсум!..— удивился Мустафа.— Я никогда не слышал, что вы пили.

— Было и такое,— скромно признался Ибадулло Махсум.— Известное дело, молодость, Мустафа, даже сам наш господь бог не сразу познал себя. Вы предложите Усману пни покорчевать, здорово помогает!

— Как я могу ему такое предложить?— смутился Мустафа.

— Да будьте вы хоть раз мужчиной, Мустафа!..— Ибадулло Махсум не на шутку рассердился.— До чего же вы добренький, даже тошно делается... Чего вы стесняетесь?

Заставьте, и пускай корчует, пока не свалится от усталости. Вот и пить меньше будет!

— Теперь он вроде совсем мало пьет...—сказал Мустафа.

— Тогда какого черта вы на него жалуетесь?— вспыллил Ибадулло Махсум.— Бросьте вы свое нытье. Все, кому не лень, ездят на вас, как на безропотное осле. Скажите, Мустафа, вы хоть раз в жизни от души выругались?

— Да нет, Махсум, не приходилось...— засмутился Мустафа.

— Тогда уходите, Мустафа,— сказал Ибадулло Махсум.— Уходите. Мне что-то не хочется с вами больше разговаривать.

Мустафа покорно встал.

У ворот ему встретилась Гульсара с лопаткой в руках.

— За водой пошла, клевер полить,— весело сообщила она.— А Усманджан дрова колет,— она вдруг понизила голос, словно собиралась открыть древнюю тайну.— Сам вызвался. Я не стала перечить, так-то все же лучше, чем слоняться без дела...

Мустафе не понравилась веселость старушки, но он промолчал.

— Пускай он займется полезным делом,— сказала она.— А то ходит проигрывает ваши деньги.— И, исполненная сознанием полезности дела, гордо вскинула голову.

Мустафа не выдержал.

— Да пускай он хоть меня самого проиграет,— неожиданно вскричал он.

Старушка опешила, даже выронила лопатку и ошалело уставилась на мужа, словно не узнавая его.

— Не будь же такой душой, Гульсара,— продолжал Мустафа.— Не перегибай палку. Нельзя относиться к нему так безбожно. Ладно, иди уж, пусти воду.

Старушка Гульсара подняла лопатку и зашагала вверх, к эмирскому арыку.

Во дворе Мустафа увидел, как Усман пилит большой ножовкой таловые бревна. Сидит на сложенном вчетверо старом коврике под стеной кошары, рядом топор, и отпиливает от бревна коротенькие поленца. Силы парню не занимать, ножовка не выдерживает его усердия, гнется, застревает в бревне. Усману явно не по себе. Он пыхтит, чертыхается, сидит красный от прилившей к лицу крови, но ножовку не бросает...

Мустафе не хочется ему мешать, он осторожными шагами идет к хлеву, отводит от стены тачку. Через несколько минут, уже с нагруженной до краев тачкой, Мустафа стоит за воротами возле злополучной навозной кучи, под которой зарыты золотые эмирские монеты. «Вот возьму и раскопаю их сейчас, будь они прокляты,— со злостью думает Мустафа,— раскопаю и уничтожу... Нет, закопаю их к черту! — мелькает мысль, и Мустафа неожиданно улыбается:— Какая чушь. Ведь они и так закопанные лежат!...»

Старушка Гульсара вернулась с эмирского арыка и вслед за Мустафой вошла во двор. Но Мустафа даже не обернулся в ее сторону, внимание его привлекло куриное перо на колесике тачки, забавно было смотреть, как оно с каждым оборотом колеса возвращается на старое место. Мустафа и не заметил, как очутился в другом конце двора. Когда колесо тачки заехало в маленький арык, Мустафа спохватился. Ему показалось, что старушка неотрывно следит за ним. Он поборол искушение обернуться, как ни в чем не бывало вытащил тачку и принялся расчищать арычок от набившегося туда мусора и кусочков засохшего дерна. Освободив путь для воды к клеверному полю, Мустафа покатил тачку обратно к хлеву, прислонил ее к стене и украдкой посмотрел в сторону кошары. Под низкой стеной кошары лежали аккуратно сложенные с десятков круглых болванок. Усмана во дворе уже не было. Мустафа выпрямился, вздохнул и пошел в дом, сменить одежду.

— А куда Усман делся? — спросил он у жены, принимая из ее рук свой старый чекмень.

— Ушел,— ответила Гульсара,— за кетменем, говорит, пойду.

— А где наш кетмень? — удивился Мустафа.

— Говорит, такой ему не годится, очень легкий он для мужчины.

— Вот это уже хорошо, Гульсара, — Мустафа улыбнулся. — Хорошо, если он почувствовал себя мужчиной... А мой-то кетмень тоже не из легких. Слава богу, уже два года обрабатываю им землю. Кетмень у меня хороший, Гульсара.

— Вы уже пожилой человек, он молодой, — сказала старушка. — Ему нужен кетмень потяжелее.

— Ты правильно говоришь, Гульсара.

— Вы бы сперва хоть чаю попили, с утра ведь ни крошки во рту не держали.

— Чай потом, Гульсара, — сказал Мустафа. — Интересно, какой участок он собрался обрабатывать? Неужели клеверный? Клевер-то у нас еще совсем молодой, только три года, как засеяли.

— Нет, сказал, кукурузный.

— Тогда другое дело, если кукурузный, — сказал Мустафа. — Но мне все равно надо пойти.

Надев свой чекмень, Мустафа вышел из дома, взял кетмень и принялся обрабатывать кусочек земли под кукурузу. Земля была податливой, ее нетрудно было взрыхлять. Не прошло и пяти минут, как появился Усман с тяжелым, килограммов в пять, кетменем, который он взял у Ибадулло Махсума, и занял место рядом с Мустафой.

— Вы идите, дядя, — сказал он. — Один справлюсь.

— Я тебе не помешаю, Усман, — сказал Мустафа. — Ты будешь работать, а я буду следить, чтобы земля ложилась ровно.

Усман ничего не ответил. Он сел на межу, снял тяжелые кирзовые сапоги, закатал штанины до колен. Обнажились белые, как у больного, ноги. Кажется, это его Смутило. Он поднял комочек сухой глины и начал его растирать. Бурая земля потекла сквозь пальцы мелкими струйками к ногам, но белизну не скрыла. Усман чуть покраснел и воровато оглянулся на Мустафу. Вдруг он резко вскочил, взял в руки кетмень.

— Не путайтесь под ногами, старик! Уходите домой, пока вас не обидели!..

Мустафа, волоча за собой кетмень, отошел на несколько шагов в сторону. Усман босыми ногами ступил на землю, поднял над головой кетмень и что было сил ударил... Кетмень вошел в землю до самого черенка. Усман легко бросил под ноги вывернутую землю. Работал он нервно, рывками и даже не заметил, как выросла целая горка земли. Мустафа неодобрительно следил за его работой и, как только Усман отодвинулся, подошёл к горке и выровнял ее. Усман, поглощенный своей работой, даже не посмотрел в его сторону. Мустафа чуть осмелел, ударил тыльной стороной кетменя о твердую межу, проверил, крепко ли держится черенок, и взялся за дело. Но теперь Усман заметил его вторжение, поднял голову и прохрипел сквозь зубы:

— Уходите, дядя, уходите, худо вам будет!.. Пока Мустафа соображал как бы поскладнее возразить, к его радости, из дома вышла Гульсара с прялкой в руке и направилась в их сторону.

— Эй, Гульсара! — крикнул Мустафа. — Принеси нам воды!..

Усман еще какое-то время сердито смотрел на дядю, потом махнул рукой и снова взялся за кетмень. Больше он уже не цеплялся к Мустафе. Пришла старушка с кувшином воды.

— Пора бы уж тебе жениться, Усманджан, — сказала она, присаживаясь на межу. — Вон как ладно работаешь, можешь две семьи прокормить!

Усман действительно работал с увлечением. Но, услышав слова Гульсары, резко обернулся и сказал, не скрывая раздражения:

— Хватит ворчать, слушать тошно.

— Нет, не хватит, — вдруг заявила старуха с несвойственной ей смелостью. — Что, так и будешь ходить бобылем до судного дня? Должен же ты жениться!

— Хватит, я сказал!..—Усман отложил кетмень.— Я женюсь лишь на том свете, и то после судного дня! Ясно? Или повторить еще раз?

Старушка надулась. Нижняя ее губа отвисла от обиды. Мустафа стал беспомощно озираться по сторонам, не зная, кого из них осадить, жену или Усмана.

— Сидела бы себе лучше дома, Гульсара,— Мустафа решил Усмана не трогать.—Иди, свари нам похлебку.

Гульсара ушла, шмыгнув носом,— сильно обиделась.

— Ты не сердись на нее, Усман,— сказал Мустафа.— На, бери свой кетмень.

Вдвоем они опять взялись за работу и быстро, в какие-нибудь полчаса, разрыхлили почти весь участок. Присели на межу передохнуть.

— Дайте-ка, дядя, ваш платок...—попросил Усман. Мустафа снял с пояса свой шелковый платок, передал Усману.

— Почему вы меня избегаете, дядя?—спросил Усман, вытирая со лба пот.— Я же не прокаженный какой. Или вы меня боитесь?

. — Обидеть тебя боюсь, Усманбай,— признался Мустафа.

— Обидеть меня невозможно,— сказал Усман.— Я же веселый человек.

— Вот что, Усманбай...—начал Мустафа.—Ты у меня один-единственный, и за сына, и за дочь...

— Я не баба, дядя,— перебил его Усман.

— Ты не возражай, Усманбай, я это так, к примеру,— сказал Мустафа.— Старуха права, тебе надо жениться, хватит в холостяках ходить.

— Нет, дядя, я сперва съезжу на Сырдарью,— сказал Усман.— Попробую на бахче потрудиться, выплачу все долги... И вам долг верну... Если уж опять сорвусь, то останется мне только тюрьма, там хоть кормят бесплатно.

— Ну, зачем, зачем же ты меня унижаешь, Усман? — Мустафе вдруг стало страшно обидно.— Разве я тебе говорил о каком-нибудь долге? Не обижай так меня, я тебе не враг! Почему ты без конца твердишь о своей Сырдарье? Неужто не найдешь кусок хлеба здесь, на родной земле?

Усман метнул на дядю быстрый взгляд. Слова Мустафы, кажется, подействовали на него, и он чуть смягчился.

— Хорошо, дядя, я останусь здесь,— согласился он.— Наверное, мне придется жениться на бывшей жене Юльдаша.

— Нет, нет, она не годится,— испугался Мустафа.— О ней всякое говорят, я не хочу ее судить, но она тебе не будет хорошей женой, Усман. Ты сам, наверное, слышал, что о ней болтают?

— Ну и пусть болтают! Ведь мы с ней как раз друг другу под стать. Какое запястье, такой и браслет!..

Усману самому понравилось это сравнение, и он громко расхохотался.

— А баба она мировая, дядя!..—продолжал Усман.— Я ее видел в позапрошлом году, на выборах. Вот стерва! Сказала, будто я не имею права избирать! Ну и я соответственно, мол, уже три года как не обжигаю кирпичи и имею право не только избирать, но и жениться. А она мне будто в ответ бедрами так и виляет. Смеется, чертовка, и с темненьким таким видом спрашивает: «А на ком это вы, миленький, жениться собираетесь, не на чужой ли?»

— И ты сказал, что на ней женишься? — с опаской спросил Мустафа.

— Нет, дядя, я не дурак. Я вообще стараюсь о бабах поменьше думать. Тогда я немножко выпивши был, но не сказал, что на ней женюсь.

— Она тебе не пара, Усман.

— А подыгрывать она умеет. Лихая бабенка!

— Она стыд потеряла,— сказал Мустафа.—Ты себе лучше другую найди, Усманбай. Потом мне скажи, мы с Махсумом сходим посватаем. А эта тебе не годится.

— На водяного ужа похожа!..

— Вот, вот, у нее очень холодное лицо,—подтвердил Мустафа.

— Нет, дядя, я не об этом, лицо у нее даже очень теплое,—сказал Усман.—Скользкая она, дядя, понимаете, скользкая, как водяной уж! Никакими руками ее не удержать — ускользнет!

— А у тебя есть кто на примете?—серьезно спросил Мустафа.

— Не будьте глупым, дядя! — грубо оборвал его Усман. И даже изменился от злости в лице.— Нет такой женщины, которая за меня бы пошла, разве что только самому родить!..

Усман резко встал и снова принялся за работу, но без прежней охоты. Сделав несколько ударов, он выпрямился и бросил кетмень.

— Не по мне все это, дядя. Не умею я быть порядочным, меня мутить начинает!..

Усман сел на межу, надел сапоги. Выражение лица его не предвещало ничего хорошего. Мустафа испугался, а вдруг Усман опять что-нибудь вытворит...

— Не могу я быть другим, дядя,— сказал Усман.— Лучше уж пойду своей дорогой.

— Куда же ты пойдешь?

— Куда-нибудь, где можно поспокойней сдохнуть, выпью напоследок грамм пятьсот.

— Ты только сейчас совсем другим был, Усманбай,—с укором сказал Мустафа.— Нельзя же так, пожалуйста, не дури...

— Нет, дядя, ничего не могу обещать. Вы же знаете — для вора и шлюхи клятвы не существует!

— Но ты же не вор, Усманбай.

— Тогда я — шлюха, дядя.

— Нет, Усман, не говори так...

— Тогда я—пьяница, это вас устраивает? Не мешайте, дядя, стинуть человеку. Не поможет!..

Вечером к Мустафе пожаловал милиционер Низам-бай. Выглядел он растерянным, все мялся, не зная, как начать. Мустафа сразу понял, что Низамбай пришел из-за Усмана.

— Он что-нибудь натворил, Низамбай? — с тревогой спросил старик.

— Пока еще не успел,—сказал Низамбай.—Вы бы его прибрали к рукам, почтенный Мустафа. Как-никак мы с вами ведь не чужие, еще деды наши дружили. Мне стыдно, если будут болтать, что вот, мол, Низамбай пошел против своего ближяего. Я уже один раз арестовывал Усмана за драку, год он отсидел, мне хватит и того позора.

— Он что, напился, да?

— Нет, и до этого еще не дошло. Да оно, может, и лучше было бы, если б напился, я бы его тогда одним пинком успокоил. Но нет, совсем трезвый был. Опозорил он меня перед всем народом, бороться заставил, А я ведь не городской участковый, я там всяким приемам да самбам не обучен, я, слава богу, свой, галатепинский... Ваш Усман еще молодой, а мне, считайте, под пятьдесят, разве я могу тягаться с таким быком!..

— Бороться, говорите?..— Мустафа не поверил своим ушам.

— В том-то и дело, что бороться! — сказал Низамбай.—Пускай сам подтвердит, сказал ли я ему хоть одно обидное слово. И ладно бы дома, так нет, прямо на улице, когда я при исполнении служебных обязанностей... Подошел и взял меня за бока!..

— Вот глупый человек! —Мустафа мог только посочувствовать Низамбаю.—Сил у него много, не знает, куда их деть.

— И вчера он приходил ко мне, просил его арестовать. Еле выгнал из дома! Ну что из того,

что сил много, угодит в тюрьму, будет бесплатно работать. Там направят его силу куда надо.

— Вы уж не арестовывайте его, Низамбай,—взмолился Мустафа.— Я с ним поговорю.

— А! Он сам себе роет яму.—Низамбай махнул рукой.— В Галатепе живет семь тысяч человек. Вы видели, чтобы хоть один из них потешался над милиционером? Над милиционером потешаться нельзя.

— А ваши друзья, они разве не шутят с вами?—с надеждой спросил Мустафа.

— Какой он мне друг, ваш Усман!.. Мне уже под пятьдесят,—Низамбай еще раз напомнил свой возраст.— Ваш Усман мне в сыновья годится, нашел, над кем шутить! Вы хоть знаете, сколько дадут за оскорбление милиционера?

Этого Мустафа не знал, но, глядя на рассерженное лицо Низамбая, понял, что дадут много.

— Еще раз такое вытворит, арестую,—пообещал Низамбая.—Так ему и передайте. Если не терпится угодить в тюрьму, пускай едет в город и пристанет к городскому милиционеру. Там-то хорошо знают, что с такими хулиганами делать. А мы разбаловали тут вас. Каждый, кому не лень, ходит на голове!

— Не сердитесь, Низамбай,—сказал Мустафа.—Не обижайтесь на Усмана, я сам с ним поговорю.

— Дело ваше, поговорите или не поговорите. Впрочем, я не уверен, что он вас послушается. Отца своего не слушался, так будет вас, дядю, слушаться!.. А с меня хватит. Если сам не справлюсь, вызову подмогу из города... Вот дурак, еще хвалится, будто спит на одной подушке, а другую оставил там, в тюрьме!..

Мустафе кое-как удалось успокоить Низамбая. Они выпили по пиалушке чая, но от ужина милиционер отказался, обещал сегодня поужинать у Назара Махдума. Мустафа не настаивал, он был даже рад отпустить гостя. Человек суеверный, он хотел поскорей пройти в комнату Усмана и проверить, действительно ли у него всего одна подушка. Проводив Низамбая до ворот, Мустафа поспешил в комнату Усмана и увидел на краю тюфяка одну подушку. Он пошарил под сундуком, среди сложенных одеял, но другой подушки не нашел... Мустафа принес из другой комнаты совершенно новую подушку, положил ее рядом и только тогда немного успокоился...

Усмана ждали до полуночи, но он не пришел. Наконец, Гульсара встала и погасила свет. Тихо всхлипывая в темноте, прошла, к своей постели и легла. Мустафа при свете еще стеснялся жены, но едва погас свет, тоже дал волю чувствам и так разволновался, что встал поперек горла какой-то комок, даже дышать стало трудно...

— А все потому, что он нам не родной,— причитала старушка.— Унизил он вас, еще не хватало вам на старости лет с милицией иметь дело!..

— Да я и сам вижу, как мучается парень,— сказал Мустафа.— Люди перестали верить друг другу. Вот и Усман мне не верит. Думает, когда-нибудь да упрекнет его в чем... Бог наказал нас, Гульсара, только не знаю, за что?

— Да, наказал господь бог,— подтвердила старушка.

Оба они решили, что это кара господня, но жаловаться на бога не посмели — сразу подумалось о смерти, о судном дне. Старушка немного помолчала, но вдруг не выдержала и с плачем обрушилась на Мустафу:

— Вам бы хоть вовремя выгнать меня. Женились бы на другой, может, родила бы она вам ребенка. Горе мне, горе, бог наказал меня, не дал детей. Отпустили бы меня, мучилась бы одна, а так сколько из-за меня вам приходится терпеть горя. Так и покину этот мир, ни разу не покормив ребенка грудью!.. Горе мне, горе!.. Горе несчастной!..

— Не плачь, Гульсара,— сказал Мустафа.— Ты нисколько не виновата. Другая бы родила!.. Была же у меня дочь, какое она мне дала счастье? Опозорила меня, втоптала в грязь на старости лет!..

Но старушку уже было трудно унять. Теперь она плакала навзрыд.

— Дочь была единственной вашей опорой. Сколько раз приходила к вам, билась головой о порог, но вы хоть бы раз посмотрели на нее!.. Каменное у вас сердце!

— Не говори мне о ней,— взмолился Мустафа.— Нет у меня никакой дочери. Умерла она. Понимаешь, умерла в тот самый день, когда принесли мне такую весть!..

— Не гневите бога, пусть аллах даст ей пожить,— сказала старушка.— Это шайтан ее спутал, сбилась она с пути. Вы бы простили ее, как-никак ваша дочь, плоть от плоти...

Мустафа вскочил с постели.

— Она же опозорила своего мужа!..— почти закричал он.— Разве я вырастил ее для того? И муж оказался хорошей свиньей, не выгнал пинком под зад, живет еще с ней, с такой! Да я бы... А, что говорить! Не было у нас в роду шлюхи, вот и решила наградить нас таким счастьем!.. Хребет мне сломала, из-за нее сколько лет выпрямиться не могу, смотреть людям в глаза стыдно! Тысячу раз пожалел, что родился!..

— Какое несчастье, какое несчастье,— всхлипывала Гульсара.— Ведь больше десяти лет прошло, а вы даже зятя на порог не пустили, он-то в чем виноват? Могли бы хоть его пустить!

— Не могу якшаться со свиньей,— отрезал Мустафа.— Хватит, Гульсара, хватит. Забыл я о ней. Сколько лет не вспоминал и наперед не вспомню.

— Вспомните,— сказала Гульсара.— Не можете вы о ней не вспомнить.

— Ну так вспомню про себя. А слов от меня о ней не услышишь.

Старушка опять принялась оправдывать дочь:

— Она же не сама впустила его. Дверь ведь выломали. Что может слабая женщина, если вломились в дом?

— Могла бы закричать,— сказал Мустафа.— Пришли бы к ней на помощь.

— Боялась опозориться...

— А так не опозорила? — Мустафа был тверд, как камень.— Так, по-твоему, меньше позора?

Старушка больше не говорила о дочери. Она знала, Мустафу не сломить. Вот уже больше десяти лет тщетно старается она разжалобить его. Дочь Мустафы почти каждый год приезжает в Галатепе, издали приезжает, останавливается у чужих, тайно навещает Гульсару, плачет, просит ее, умоляет, только что в ноги ей не кидается: «Попросите отца, попросите, пусть он простит меня...» Гульсаре жалко несчастную женщину, любит она ее как родную, обещает помирить с отцом, хотя знает — не удастся уломать мужа. Мустафа, хоть и мягкий человек, уперся, как буйвол, ничем его не проймешь. Гульсаре иногда даже страшно делается при одной только мысли, что Мустафа вдруг умрет, не простив дочери. Ведь это тяжело: лишиться благословения отца! Кем доволен отец, тем и сам аллах доволен. Не дай бог, если Мустафа умрет, так и не помирившись со своей дочерью. Та уже раскаялась во всем, живет, пришибленная позором. Это раньше она ходила с гордо поднятой головой, веселая, неприступная. Где теперь те времена!.. Похудела, осунулась, стала точно лучинка, в глаза людям не осмеливается смотреть... Еще четверо детей у нее, и о них думает, бедняга, боится, как бы проклятие отца не коснулось ее детей. Каждый раз молит Гульсару поговорить с отцом. Но что может сделать для нее Гульсара, несчастная старуха, она же не бог, чтобы вложить в сердце Мустафы хоть чуточку жалости. Последнее, что осталось у Мустафы, это его надежда — сделать из Усма-на человека, но тот тоже пока не радуется старика — пьянствует, режется в карты. А Мустафа все это терпит — уж чем-чем, а терпением не обделил его господь бог. Тронь Усман хоть пальцем чью-нибудь дочь или жену — тогда все пропало! Тогда уж Мустафа не простит. Лучше умрет, но не простит.

Старики долго не могли сомкнуть глаз. Под утро, когда пропели первые петухи, они

услышали, как со скрипом открылась дверь и кто-то вошел в дом. Затем раздались тяжелые шаги, грохнули пустые ведра в передней. Старики затаили дыхание. Гультара бесшумно встала и, еле отыскав в темноте свои кауши, вышла из комнаты. Мустафа стал прислушиваться, но больше не доносилось ни звука. Минуты через две вернулась жена и легла.

— Не пьяный?..— тихо спросил Мустафа.

— Плачет,— ответила Гультара.— Не знаю, пьяный или нет, боязно войти...

— Пускай поплачет,— сказал Мустафа.— Может, полегчает ему, пускай немножко поплачет... Ты завтра дай ему рублей пятьсот, Гультара.

— Зачем?—спросила старушка.— Он же их мигом пропьет.

— Не пропьет,— сказал Мустафа.— И ничего такого не говори ему. Он сам все поймет.

— Не верю, он их точно пропьет.

— Ну, ты говоришь, точно враг,— рассердился Мустафа.— Пускай он возьмет эти пятьсот рублей и отнесет Ибадулло Махсуму. Надо выкупить коня Хуччи у Салима Разбойника. Если не хватит, еще дам. Махсум прав, жалко такого коня оставлять у Салима. Надо отвести его обратно к хозяину домой.

...Назавтра над Галатепе не взошло солнце. Спустился желтый вонючий туман, да такой плотный, что вытянутую вперед руку нельзя было разглядеть. Люди бродили, словно слепые, пошаривая палками.

Салим Разбойник, сын Мансура, унаследовавший от отца его прозвище, вынес из дома старый отцовский даул, поднялся на Коровью вершину и долго бил по нему палками. Но натянутая на даул кожа уже успела намокнуть, и, сколько ни старался Салим Разбойник, его ударов не то что бог, даже он сам не мог толком расслышать. С гор дул холодный ветер. Салим Разбойник замерз на вершине, спустился вниз и бросил со злости свой отяжелевший даул в первый же попавшийся арык. Пороптал на бога, который вздумал наслать им такой вонючий туман в месяце джаузе, прямо накануне саратана...

Люди еще ждали два дня, но туман что-то не собирался рассеиваться. В полдень третьего дня человек десять, в том числе и Мустафа, вышли из Галатепе и направились в соседний Шуркудук. Тут не было никакого тумана, солнце стояло прямо в зените, приятно грело.

— Вот идиоты,— засмеялись соседи.— Чтоб мерзнуть в самый саратан? Кто это придумал такую чушь? Какой может быть туман в это время года? У нас уже третий день не заходит солнце!..

Никогда еще не было случая, чтобы кто-нибудь смеялся над галатепинцами. Галатепинцы знали себе цену. Они быстренько затыкали рты даже тем, кто пытался заговорить о них с улыбкой. На этот раз люди Шуркудука открыто смеялись над ними. Но ни один галатепинец не посмел дать им отпора. У галатепинцев даже не было сил раскрыть рты. Они только что выбрались из плена мерзкого тумана и все еще стучали зубами. Стояли, словно побитые, нет, еще хуже, словно цыплята, вышедшие из арыка, жалкие и несчастные. Потом, когда немного погрелись, кто-то попытался пригрозить шуркудукцам. Но теперь было уже поздно — в ответ услышали только смех, дружный и гадкий. Никто уже не боялся галатепинцев. Тогда бедные галатепинцы склонили головы в знак полного поражения и стали умолять соседей:

— Не гоните нас, братья, не по своей воле мы к вам, нас выгнал туман, нет ничего хуже этого желтого тумана. Мы готовы быть вашими слугами, не гоните нас обратно...

Один только Мустафа не сдавался:

— Опомнитесь, люди,— говорил он своим галатепинцам.— Что же вы делаете, это же позор для нас!

Но его уже никто не слушал. Мустафа один вернулся в Галатепе, в мрачный туман и темноту. Тут его стали спрашивать. Мустафа им сказал:

— Мы пришли, а они стали нас по-всякому оскорблять...

— Как?! — в один голос воскликнули галатепинцы. — Как они посмели?

— Не знаю, — ответил Мустафа. — Кажется, они нас нисколько не испугались.

До этого дня все галатепинцы были твердо убеждены, что обитатели соседних кишлаков немного побаиваются их, но теперь выходило, что они ошибались. Галатепинцы дали волю своему гневу:

— Люди! Люди-и! — взревел Манзар-палван. — Что вы тут стоите, идемте все за мной! Идемте на соседей! Проучим их наконец, как они смеют потешаться над галатепинцами! Так проучим, что даже их дети забудут, как смеяться при нашем имени!..

И все двинулись за Манзаром-палваном. Конные и пешие, стар и млад, все пошли на соседний кишлак. В кишлаке остались одни старухи и Мамадали, сторож колхозного сада.

— Уходите, все уходите! — запрыгал он от радости. — Все оставляйте мне! И жен своих оставляйте!

Было страшно холодно. Люди оделись по-зимнему, в тулупы и ватники. Кое-кто даже укрылся овчиной. Долго шли люди. Только через три часа выбрались из тумана. Показалось солнце. Оно стояло в зените, на том самом месте, где и должно находиться еще в полдень. Сразу стало жарко. Но никто не снял теплой одежды—все были очень напуганы внезапным холодом. Усталые и потные, они прошли еще один фарсах и уперлись в высокую каменную стену. Люди побрели в разные стороны, но стене не было конца.

— Люди! Галатепинцы! — крикнул Салим Разбойник. — Шуркудукцы оказались подлыми, это они поставили высокую стену. Они боятся нас, братья, еще как боятся, зачем бы им тогда строить такую стену! Давайте, все разом навалимся на нее и свернем к чертовой матери!

Но никто не отозвался на его призыв — галатепинцам было достаточно, что шуркудукцы по-прежнему боятся их. Честь их была восстановлена. Люди стали расходиться.

— Куда же вы, братья! — взревел Манзар-палван. — Опять хотите глотать вонючий туман?

Услышав о тумане, все разом остановились. Никому не хотелось возвращаться в туман. Манзар-палван поставил Нар-палвана и Якуба-козлодера рядом под стеной и взобрался на их плечи. Стена была очень высокой, и он еле сумел ухватиться за ее край. Но тут на стене появилась какая-то бритоголовая женщина, и ударила по рукам Манзара-палвана огромной, как чабанский посох, скалкой. Пальцы Манзара-палвана разжались от боли, и он с грохотом упал вниз. Потом на стене появились другие люди, мужчины, женщины, все до единого бритоголовые. Многие были знакомы галатепинцам. Их каждое воскресенье видели в Галатепе на базаре. Но сейчас ни один из них не выдал себя, все держались, словно чужие, смеялись над своими соседями. Сторож галатепинского базара Бахрам Колченогий крикнул им:

— Мы вам еще покажем, попробуйте только приехать к нам на базар!

— Мы больше не поедem к вам на базар! — последовало в ответ. — Одни торгуйте, на кой черт сдался нам ваш базар!..

Только один, посредник в торговле скотом Саидкул, сказал:

— Я бы поехал, но вы же сами видите, стену тут воздвигли, мне через нее не перейти. Тогда Бахрам Колченогий сказал ему:

— Ты человек порядочный, Саидкул, можешь к нам приезжать, тебя мы не тронем!

— Хвала отцу твоему, Колченогий! — ответил Саидкул. — Ты тоже порядочный человек. Слушай, что я тебе скажу...

Но Саидкул не успел сказать—его тут же сбили с ног свои люди. Потом они стали кидать камнями в галатепинцев. Галатепинцы рассвирепели и стали шарить под ногами... Тут на стене появился Турабай, один из девяти перебежчиков, сдавшихся в полдень на милость

шуркудукцев. Турабай уже успел побрить голову и теперь вел себя как чужой человек.

— Идиоты,—засмеялся он, увидя своих односельчан. — Только идиоты могут мерзнуть в саратан. Идиоты, все галатепинцы идиоты.

И он пустился в пляс на стене. Манзар-палван бросил в него посох и сбил его с ног. Турабай свалился со стены к шуркудукцам. Свалился он к галатепинцам, те растерзали бы его на клочки—до того им ненавистно было обнаружить предателя в своей среде. Все последовали примеру Манзара-палвана, стали забрасывать врагов чем попало — палками, сапогами... Но на этот раз никто не упал. Вдруг все мгновенно куда-то исчезли.

Немного погодя на стене появился совершенно голый человек. Женщины и дети разом отвернулись. Только повитуха Фатъма да бывшая жена Юльдаша продолжали смотреть.

— И сапоги скинь, срамник,— крикнула Фатъма-повитуха.

Голый Человек был в сапогах, ярко-красных, с высокими голенищами.

— Сапоги я не скину,— заявил Голый Человек.— Эти сапоги мне Мустафа подарил.

— Он врет,— крикнул Мустафа.— Не верьте ему, люди, я никогда в жизни не шил красных сапог...

— Это Мустафа врет,— сказал Голый Человек.— Он, он шил мне сапоги, только потом я покрасил их в красный цвет. Краской из гранатных корок.

— Врешь, бессовестный,—оборвал его красильщик Атабай.— Из корок граната делают желтую краску. А у тебя сапоги красные, не шил их Мустафа, сразу видно!..

— Нет, шил! — крикнул Голый Человек и принялся расхаживать взад и вперед по стене.

— Хорошие у него сапоги! — воскликнул невесть откуда взявшийся сапожник Микаэл.— Слышите, какой скрип? Скрип-то хороший!.. Дай бог всякому, чтобы его сапоги так скрипели!..

Но никто из галатепинцев не стал прислушиваться к скрипу сапог, все набросились на бедного сапожника.

— Кто тебя звал сюда? — спросил старик Хуччи у Микаэла.— Зачем ты вмешиваешься в наши мусульманские дела?

— Э! Странно вы говорите, почтенный Хуччи! —удивился Микаэл.— Где вы еще найдете второго такого мусульманина, как я?

— Засвидетельствуй, что ты мусульманин! — приказал старик Хуччи.

Микаэл тут же засвидетельствовал:

— Нет бога кроме аллаха, и Мухаммад — его посланник, да будет добрая молитва и вечный мир ему и всем, кто следует по его стезе, да будет он благословенен до судного дня милостью аллаха, ибо лишь аллах достоин поклонения!.. Вы зря так говорите, почтенный Хуччи, я вас не за то так сильно уважал, чтобы вы в один прекрасный день меня несправедливо упрекнули!..

Тут к Микаэлу подошла Айша, жена Салима Разбойника, и чмокнула его в щеку. Затем подошел сам Салим Разбойник, крепко обнял его и тоже поцеловал в щетину.

— Брат ты мой родной!..— проговорил он.. сквозь слезы.—Сколько лет, я тебя искал, сколько облазив мест!.. Где же ты пропадал?

— Я же почти каждое воскресенье приезжаю сюда,— смущенно отозвался Микаэл.— Не мешай мне сапожник Ислам, я бы насовсем перебрался в Галатепе. Тут из толпы вышел сапожник Ислам и заявил:

— Ладно уж, Микаэл, я согласен, переселяйся хоть завтра. Я буду чинить ичиги, а ты валяй чини сапоги... Хочешь, я тебе дам целый мешок дратвы? И будку свою поставь рядом с моей, переезжай, я тебе разрешаю. Ведь ты мой родной брат, не чужой человек,

— Вррррешь, Ислам! — взвился Салим Разбойник— Микаэл мой брат, а не твой, смотри, если не веришь, смотри, как мы похожи друг на друга!

Люди посмотрели, но не увидели Салима Разбойника. Перед ними стояли два Микаэла. Оба

чернобородые, остроносые, у обоих одежда вся в черной ваксе.

— Куда же ты пропал, Салим? — крикнул Манзар-палван.

Микаэл, стоявший слева, ответил:

— Да вот я—твой Салим.

Но второй, что был справа, Микаэл, перебил:

— Нет, это я Салим!

Оба Микаэла заспорили — кто из них Салим Разбойник. Голый Человек, доселе наблюдавший за всем со своей стены, громко засмеялся:

— Смотрите, тупицы, сейчас будет три Микаэла. И галатепинцы увидели, что перед ними схватились драться уже три Микаэла.

— Сколько захочу, столько и будет Микаэлов! — крикнул Голый Человек.

— Хватит, колдун проклятый! Хватит!..—Айша, жена Салима Разбойника, пала на колени и простерла руки к небу.— О, боже, накажи этого колдуна, верни мне моего мужа!..

— Твой муж больше никогда к тебе не вернется! — крикнул Голый Человек и пустился в пляс. Из-за стены показался Турабай с белой повязкой на голове. В руках у него был новенький дутар. Он сел и ударил по струнам. Голый Человек заплясал еще пуще.

— Молитву, братья, молитву!..— взмолился один из трех Микаэлов, которого били двое других.— Творите молитву, чтоб этот колдун исчез, иначе эти двое убьют меня!..

Все принялись читать молитвы. Но колдун не исчез. Он все еще продолжал плясать под звуки дутара.

Вдруг послышался топот коня. Все повернулись назад. Со стороны Галатепе неся к ним всадник и кричал:

— Бога нет, бога нет, бога нет!..

Галатепинцы узнали во всаднике Касымова, секретаря сельсовета. Он подскочил на своем взмыленном коне, спрыгнул с седла, пошел к стене.

— Бога нет! — повторил он опять.— Нет никакого бога!

Галатепинцы перестали читать молитвы и уставились на Касымова.

— Вот до чего довело вас ваше суеверие! — покачал головой Касымов.— Какой это колдун? Посмотрите получше, это же Хасан, сын нашего Назара Махдума!

Услышав имя Хасана, все, даже женщины, повернулись к стене. И в самом деле на стене плясал голый Хасан, сын Назара Махдума. Едва в голом человеке узнали Хасана, он стал весь пунцовый, быстро снял с головы Турабая белую повязку и прикрыл свою наготу.

— Плохой ты человек, Хасан,— упрекнул его старый учитель Тагаев.— Разве я тебя такому учил?

— Я не виноват, уважаемый муаллим,— начал оправдываться Хасан.— У меня и других забот полно! Не очень-то мне надо плясать голым!..

— А кто тебя заставил? — строго спросил Тагаев.

— Вот этот ваш Мустафа,— сказал смущенно Хасан.— Он не отдал за меня свою дочь, и я ему мщу...

— Ведь ты женился на дочери другого Мустафы, который живет возле мельницы,— сказали Хасану.

— Да,—ответил тот,—но я хотел жениться на дочери этого Мустафы. Теперь вот пришло время отомстить ему. И туман к вам я наслал. Ну ладно, так и быть, пришлите ко мне Низамбая, я ему дам десять человек, вместе они разгонят туман!

Манзар-палван с гневом набросился на Мустафу:

— Всё это, оказывается, из-за вас, Мустафа! Почему вы не отдали за Хасана свою дочь?

Мустафа не на шутку струсил. Манзар-палван приближался к нему со сжатыми кулаками.

Но тут случилось чудо; с неба послышался шум от взмаха крыльев и кто-то тут же поднял Мустафу от земли. Мустафа не сразу сообразил, что с ним происходит, только оказавшись над стеной и увидя за ней соседний кишлак, он понял, что летит по воздуху. Повернув голову, Мустафа увидел, что его несет пери необыкновенной красоты и вся в белом одеянии. Мустафа стал бормотать молитвы, но, кажется, пери была мусульманкой и молитвы на нее не подействовали, скорее наоборот, добавили ей силы, и она еще энергичнее начала взмахивать своими огромными крыльями. Тогда Мустафа сильно ткнул пери в грудь. Она вскрикнула и стала падать на землю. «Теперь она раздавит меня»,— подумал Мустафа. Но пери оказалась легкой, легче пушинки, Мустафа даже не почувствовал боли. Тут кто-то ударил по крыльям пери палкой, пери застонала от боли и быстро поднялась в воздух. Когда она уже перелетела через высокую стену, из левого ее крыла выпало несколько белых перьев. Они плавно опустились на землю, но никто не дотронулся до этих перьев. Только Касымов поднял одно перышко и стал внимательно рассматривать его через какую-то круглую стекляшку.

— Отнесу детям в школу,—сказал он.

— А дети не поверят,—сказали ему.— Оно ничем не отличается от куриного.

— Но теперь-то вы поняли, к чему приводит вас ваше суеверие? Вы же сами убедились, что ангел ничем не отличается от обыкновенной курицы!

Все засмеялись. Всем сразу стало весело. Даже враги галатепинцев, что стояли на стене, не могли удержаться от смеха. Кто-то даже сказал, что Мустафу чуть курица не унесла. Раздался новый взрыв хохота.

— Не смейтесь, люди,—взмолился Мустафа,— откуда мне было знать, что это курица!..

К счастью, люди пожалели его, не стали больше донимать насмешками. И вдруг, совершенно неожиданно, словно гром среди ясного неба, вышел вперед мулла Данияр в белом как снег халате. Манзар-палван попытался его прогнать:

— Уходите, почтенный мулла,—сказал он.— Вы же давно умерли. Грех, если вы еще начнете сейчас разговаривать с живыми!..

Но мулла Данияр не послушал его.

— Отойдите от меня, Манзар,—он рукой отстранил Манзара-палвана.— Все вы живые, все до единого, но не можете справиться с шуркудукцами! Даже я, мертвый, не вытерпел такого позора и вот должен был прийти. Смотрите, Манзар, на мое волшебство, ни один мулла не может тягаться со мной, смотрите!

Мулла Данияр подошел поближе к стене, прочел какую-то волшебную молитву и сильно выдохнул:

«Куф-суфф!..». Стена вмиг исчезла, будто ее никогда и не было. Вместе с ней исчезли и Хасан, и Турабай, и все другие бритоголовые. Взору открылась широкая холмистая степь с редкими дворами. Это и был Шур-кудук, к которому галатепинцы шли, войной. Но сейчас они меньше всего думали о Шуркудуке. Все были поражены таинством, совершенным муллой Данияром, все, кроме Назара Махдума. Тот засучил рукава и стал подступать к мулле:

— Куда ты дел моего сына? Сейчас же верни мне его, верни, а то худо будет!..

— Худо мне уже никогда не будет,—спокойно ответил мулла Данияр.

Тут на защиту Данияра выступили еще двое мулл—мулла Кудрат и мулла Парда. Мулла Парда, кажется, загорелся желанием научиться волшебству, он сразу взял муллу Данияра под руки.

— Окажите мне милость,—попросил он любезно.— Пожалуйте ко мне на пиалушку чая.

Но мулла Данияр только покачал головой:

— Я бы и рад, но мне нельзя, отвык я от чая за те пять лет, как умер...

Потом он повторил свою волшебную молитву и растаял в воздухе. Через минуту откуда-то

сверху донесся его удаляющийся голос:

— Вернитесь, братья, назад! Во всем виновата та женщина-ангел! Не поминайте меня лихом, пускай душа моя пребывает в покое-е-е!

Люди возликовали, стали смеяться, шутить. Они даже забыли, что пришли с войной к соседям из Шуркудука. Манзар-палван аж запрыгал от радости.

— Но мулла вам соврал,— сказал он.— Никакая это была не женщина-ангел, это была пери, на которой я чуть не женился в Кзыл-Таше, когда жил там два года отшельником. [О приключениях Манзара-палвана и о мнимой его женитьбе на прекрасной пери мы расскажем в другой повести (автор).]

Но люди не поверили ему:

— Врите, Палван, врите, да знайте меру. Выходит, вы собирались жениться на обыкновенной курице?

Но Манзар-палван не сдавался. Он твердо стоял на своем:

— Нет, она была не курицей, а настоящей пери!

— Нельзя быть таким суеверным, Манзар-палван,— сказал Касымов.— Я же своими глазами видел, что это была обыкновенная курица...

Он развязал платочек и показал ему куриное перо, После этого Манзар-палван умолк и обиженно отвернулся.

Все пустились в обратную дорогу. На полпути им встретился незнакомый кишлак. Когда шли в Шуркудук, этого кишлака и в помине не было, а теперь он, словно из сказки, красовался перед ними высокими домами и пышными зелеными садами. Мулла Кудрат немного отстал от других и попытался уничтожить этот кишлак своей молитвой, но безуспешно — его молитва не имела такой волшебной силы, как у муллы Данияра. Он позвал на помощь муллу Парду, но тот не был уверен в силе своей молитвы и, боясь опозориться, не согласился.

— Оставьте вы их,— сказал он своему другу.— Пускай себе живут, раз уж построили такой кишлак. Они ведь ничего нам плохого не сделали, не воздвигли на нашем пути стену, как шуркудукцы. Пожалейте несчастных, почтеннейший мулла, а нам еще надо добраться до своего Галатепе!..

Вернувшись в Галатепе, они опять увидели мрак и вонючий туман. Стало еще холоднее, чем было утром. Дрожа и проклиная судьбу, несчастные галатепинцы разбрелись по своим домам. На улице остался только один Низамбай. Назар Махдум приказал ему ехать к Хасану с подмогой, чтобы разогнать вместе туман...

Мустафа еле нашел во мраке холм и добрался до своего двора. В доме было совершенно темно. Он нащупал в кармане отсыревшие спички и после долгих усилий зажег старую керосиновую лампу. Старухи Гульсары дома не оказалось. На ее месте в углу сидела уже знакомая пери с прялкой на коленях. Мустафа на минуту растерялся.

— Уходи,— сказал он наконец.— Уходи, тебя никто сюда не звал...

— Правильно, не звал, но я сама сюда пришла.

Ее голос, приятный и молодой, сразу понравился Мустафе.

— Ваша жена ушла, сказала, что не будет делить со мной своего мужа. Ну и хорошо, теперь я буду вашей женой!..

— Ведь так нельзя,— нерешительно возразил Мустафа.— Я же совсем тебя не знаю. Потом ты из племени ангелов, а я из людского рода... Не думаю, чтобы твоя выходка понравилась аллаху...

— Я совсем непривередливая,— сказала пери.— Вот увидите, со мной вам будет легко. Я пью только молоко, больше ничего мне не надо...

Мустафа удивился, но тут же принес ей целую миску молока. Пери сделала глоток и

заплакала:

— Ой, это же сырое молоко. Нет, я такое не пью, боюсь простудить горло! Я хочу кипяченого!..

— А еще говоришь, что непривередливая!..— сказал Мустафа.— Нет, моя жена лучше, она хоть не капризничает. Стану я еще кипятить тебе молоко! А кто за скотом будет смотреть? Ты, что ли?

— Вы сперва скипятите мне молока,— сказала пери,— а потом пойдете смотреть за своим скотом.

Мустафе волей-неволей пришлось выйти в прихожую вскипятить молоко на керосинке и принести пери. Но той опять не-понравилось:

— Оно же совсем жидкое, сливки небось сами вылакали?

— Не дури,— обиделся Мустафа.— Я тебе не ребенок, сливки лакать.

— Но это не молоко, а какая-то кислая сыворотка,— захныкала она.— Может, вы принесли ее из сепараторной?

— Вот зануда! — рассердился Мустафа.— У меня самые лучшие коровы во всем Галатепе и дают самое жирное молоко!

Но пери уже не слушала его. Она ринулась в дальний угол комнаты и стала биться головой о край большого кованого сундука.

— Я согласен на все, согласен на все, скажи, что мне делать? — испугался Мустафа.— Вот несчастье-то на мою голову! Зачем же ты явилась сюда, если когда-то хотела выйти замуж за Манзара-палвана? Могла бы к нему пойти!..

— Он меня побьет,— всхлипнула пери.— Мне с вами лучше. Дайте мне немного золота, я перестану капризничать, если вы дадите мне немного золота.

— Нет у меня никакого золота,— сказал Мустафа.

— А тот, что вы зарыли под навозом?

— Но ты же ангел, зачем тебе золото?—удивился Мустафа.—Что ты с ним делать-то будешь?

— Усману отдам,— сказала женщина-ангел.

— Ладно,—согласился Мустафа.—Вот за воротами куча, сама раскапывай, а мне холодно, не хочу копать в мерзлой земле.

— А я не могу копать в навозе,— сказала женщина-ангел.— Как вы смели предложить мне такое. Я же пери...

— Вот и раскапывай! — сказал Мустафа.— Не буду я пачкать себе руки.

— А если я разгоню туман, вы откопаете мне золото?

— Ты сперва разгони туман, а тогда я тебе все отдам.

— Нет, пока вы не раскопаете золото, туман не рассеется,— сказала пери.— Сперва надо достать золото. Оно уже ушло глубоко в землю, долго вам придется копать. А если не рассеется туман, всем вам придется бежать из Галатепе...

Туман не рассеивался еще целых три дня...

Мустафа пришел в себя только на четвертый день, Открыв глаза, он увидел над собой старушку Гульсару, увидел в ее руках мокрое полотенце и глазами дал понять: приложи его, приложи...

Старушка положила полотенце Мустафе на лоб, затем принялась гладить его виски тонкими костлявыми пальцами.

— Горите, как в огне,— сказала она.

— Нет,— еле слышно сказал Мустафа.— Не горю, мерзну...

— Усман все время сидит возле, вас,— сказала Гульсара, чуть потупив глаза.— Может, с

ним попрощаться хотите?..

— Разве он куда уезжает? — удивился Мустафа.

— Нет, дядя, никуда не уезжаю,— донесся откуда-то снизу голос Усмана, но тут над Мустафой появилось его усталое лицо.— Тетя думает, вам очень плохо стало...

— Это хорошо, что ты называешь ее тетей,— сказал Мустафа.— Ведь у нее никого, кроме нас с тобой, нет... Хорошо, что называешь ее тетей. Ты лучше сам раскопай золото, Усманбай, я очень замерз...

— Бредит,— сказала старушка.— О каком золоте вы говорите?

Мустафа не обратил никакого внимания на слова жены.

— Раскопай, Усман, раскопай, а то этот туман никогда не рассеется.

— Да нету никакого тумана, дядя,— сказал Усман.— Посмотрите в окно, откуда сейчас быть туману? Солнце же светит!..

Мустафа оторвал голову от подушки, посмотрел в окно и увидел коричневый ствол чинары и освещенные солнцем верхушки низеньких яблонь. Потом жена и Усман осторожно опустили его голову на подушки.

— Ты все равно откопай золото, Усманбай,— сказал Мустафа.— Я раньше тебе не говорил. Зарыты под навозом сорок восемь золотых монет. Делай с ними, что хочешь: хочешь, истрать, хочешь подари кому... Ты у меня единственный наследник...

— Мне ничего не надо, дядя,— сказал Усман.— Все равно пропью. Но еще немного подержусь, может, и вправду расхочется пить...

— Это хорошо, если расхочется...— сказал Мустафа.

Он опять посмотрел в окно, и ему показалось, будто проскользнула за окном какая-то тень. Мустафа сразу насторожился, бросил на жену недоверчивый взгляд.

— Ты это зря, Гульсара,— сказал он.— Зря ты ее пустила...

Старушка сделала вид, будто ничего не поняла.

— Скажи дочери, я ее прощаю, но пускай не показывается мне на глаза,— сказал Мустафа, затем обернулся к Усману.— Ты сам отвези ее домой, Усманбай. Если умру, на похороны позовите. А пока пусть не показывается на глаза.

— Не могу я, дядя,— сказал Усман.— Поймите меня, не могу. Она же ваша родная дочь.

Мустафа его понял. Он опять посмотрел на старушку:

— Тогда ты ее отвези, Гульсара. Или попроси кого другого.

Старушка склонила голову в знак повиновения.

В полдень Мустафа почувствовал, что умирает. И очень удивился этому чувству. Как странно, подумал он, ходишь, ходишь по земле и вдруг в один прекрасный день больше не встанешь. Положат тебя на носилки и понесут, а ты даже не заметишь, как тебя несут. Потом тебя закопают, и люди вернутся в дом, где ты жил. Начнут плакать. Заплачут мужчины, заплачут женщины... Скажут, вот был на свете такой божий человек, звали его Мустафой, вроде неплохой был старик... Потом все попривыкнут, что тебя уже нет, и тихонько разойдутся по домам. Останется одна Гульсара. Если бог вразумит, то и Усман с ней останется. Но придет день, и Гульсары не станет. После ее смерти больше не будут зажигать в твоём доме огонь. Вечерами во всех домах будет гореть свет, все дома будут светлыми, только один твой дом на террасе холма, за прудом Ибадулло Махсума, потонет во мраке. Год он постоит, два года, три, но вот начнут рушиться стены, сохнуть деревья, и наконец весь твой дом превратится в развалины, станет обиталищем сов...

Мустафе стало грустно. Он велел жене позвать Усмана. Тот вошел и сел у постели дяди.

— Я эти дни совсем не пил, дядя,— сказал он, как бы оправдываясь.— Давно уже, еще перед тем, как вы заболели, перестал пить...

— Посиди со мной,— попросил Мустафа.— Потом пойдешь пить...

— Нет, дядя, так нельзя... Вы тут больной лежите, а я...

На глаза Мустафы навернулись слезы.

— Похоже, я больше не встану, Усманбай,— сказал он.— Я никогда так сильно не болел, теперь вижу, как это бывает...

— Поправитесь, дядя! — сказал Усман.— Вы сильный человек. Не пьете, не курите, не играете в карты...

— Я в жизни не играл в карты, Усманбай...

— Я про то и говорю. Картежник может скопытиться раньше времени и от горя и от радости. А вам спокойней, дядя. Вы еще долго будете жить.

— Ты только не уезжай на Сырдарью,— сказал Мустафа.— Гульсаре одной трудно будет. Ты не мучай ее, Усманбай.— Вы за кого меня принимаете, дядя? — обиделся Усман.— Думаете, без вас я ее убью и заберу все деньги?

Мустафа промолчал. Такая мысль однажды уже приходила ему в голову. Сейчас он раскаялся, глядя в лицо племянника.

— Я, хоть и ползаю, но еще не успел стать гадом,— сказал Усман.

— Ладно, ладно, ты позаботься о старушке,— сказал Мустафа.— Оставим все другие разговоры. Я и на том свете буду молиться за тебя, сынок. Плохим ты был или хорошим, но чести своей ты не пропил. Оставайся в этом доме, поддерживай свет, чтобы не спросил кто прохожий, чьи это развалины.

— Не надо так, дядя,— хриловато сказал Усман.— Давайте поговорим о другом. Я и не собираюсь оставлять вас.

Мустафа успокоился. Он чуть приподнял голову и еще раз оглядел Усмана.

— Ладно, иди, сынок,— сказал он.— Сходи на свою ферму.

— Я там уже был,— ответил Усман.— Хорошо, пойду попою бычка.

Мустафа опять остался один. Увидя воткнутое в стену шило, он вспомнил про свое обещание сшить для Камала Раиса потник. «Не успел,— подумал он с сожалением.— Что теперь остается делать, лежу пластом, ладно уж, Камал все поймет...» Он поудобней устроился на подушке. Почувствовал, как свинцовая тяжесть вдавливают все его тело в постель. «Только не было бы больно,— подумал Мустафа.— Только бы не было больно...»

...Потом один за другим стали приходиться односельчане. Разные люди пришли. Все говорили о неизбежности конца, воздавали хвалы Мустафе, прощались и благословляли. Люди шли до самого вечера. Вечером доме остались только свои: Мустафа, Гульсара, Усман...

В пятницу утром пришли его братья—Пиримкул лия и Апсамат. Пиримкул Малия, сборщик земельных налогов, был на два года старше Апсамата, он —сел повыше, у изголовья старшего брата. Младший остался в ногах. Он был немногословным, как все пастухи, поэтому разговор начал Пиримкул Малия.

— Ну, как себя чувствуете, Мустафа?

— Спасибо, мне лучше...—ответил Мустафа.—А вы как живете?

— Мы хорошо живем,— сказал Пиримкул Малия. —А вы, Мустафа, были всегда такой крепкий, нашли время болеть, когда вас уже освободили от налогов!.. Сегодня Саломат сказала, будто вы слегли. Я не хотел поверить, совсем испугался!..

Мустафа тихо покачал головой — не разделил он тревогу брата. Затем он обратился к Апсамату, младшему брату:

— А ты как живешь, Апсамат?.. Апсамат, как и всякий пастух, начал говорить о своем стаде:

— Как живу? Пасу коров, Мустафа-ака. А сейчас такая пора, от оводов нет никакого спасения. Кусают они коров, а я бегаю, выгоняю из каждого оврага!.. Дома почти не бываю. Вы

уж не обижайтесь, Мустафа-ака, никак не мог прийти раньше попрощаться с вами...
Благословите меня, Мустафа-ака...

Мустафа знал, что Апсамат, как и он сам, человек непосредственный, говорит то, что думает. Поэтому он сразу благословил его:

— Я доволен тобой, Апсамат, дай тебе бог счастья... Вспоминай меня, если я уйду...

— Ты не каркай, Апсамат,— рассердился Пиримкул.— Мустафе еще жить да жить!..

— Да я не каркаю, пускай живет Мустафа-ака,— смутился Апсамат.— Разве я могу желать ему смерти?..

Увидев, как смутился Апсамат, Мустафа поспешил к нему на помощь:

— Ты не беспокойся, Апсамат, я буду жить, если аллах не сократит мои дни...

— Скорей выздоравливайте, Мустафа-ака,— сказал Апсамат.— Сами понимаете, я не могу каждый день приходиться к вам, не то разбредутся коровы во все концы... И сейчас вот беспокоюсь. Оставил все стадо на жену, а она беременная, еле ноги таскает.

Мустафе понравилось, как говорит младший брат, Ему хотелось попросить его продолжать, но он постарался удержаться от просьбы.

— Ладно, ты иди уж к своему стаду, Апсамат,— сказал он.— Будет время, еще как-нибудь заглянешь.

Апсамат в нерешительности посмотрел на другого брата. Тот, доселе злой и угрюмый, немного смягчился:

— Ладно уж, иди, паси свое стадо. Зайдешь вечером. Мустафа, чай, не чужой нам человек, можешь и вечером заглянуть... Как вы думаете, Мустафа?— Пиримкул повернулся к старику.— Наверно, ему можно навестить больного вечером. Он же свой человек!..

— Пускай придет вечером,— согласился Мустафа.

Апсамат вышел. И тут же, будто ожидая ухода Апсамата, в комнату вошла Саломат, жена Пиримкула, немолодая уже, но очень нарядная, словно невеста из-за свадебного полога. Она скромно села рядом с мужем, несколько секунд помолчала, потупив глаза, как и подобает невестке, играя стежками тюфяка, затем, когда муж одобрительно кашлянул, подняла глаза...

— Вот, пришла к вам, дорогой деверь,— сказала она.

Мустафа улыбнулся:

— Вижу, вижу...

— Пришла проститься,— сказала Саломат.

— Спасибо, невестка,— оказал Мустафа. Ему уже начало нравится прощаться с людьми. Уже второй день все приходили с ним прощаться, все ему были рады.— Я тысячу раз доволен вами всеми.

— Вы нас простите, если мы что плохого делали... Пиримкул Малия недобро взглянул на жену. Мустафа заметил этот взгляд, но не понял, с чего бы это брат озлобился на свою жену, вынул руку из-под одеяла и слабо махнул;

— Не надо, Пиримкул, она же женщина, пускай говорит!..

— Вы меня не ругайте,— сказала Саломат мужу.— Видите, деверь оказался лучше вас, сам хворый лежит, а добрых слов для меня не пожалел...

Похвала невестки понравилась Мустафе. Он даже заерзал в постели от удовольствия.

— Вы нам много добра делали,— сказала Саломат.— И нет у нас другой опоры, кроме вас.

Мустафа, сколько ни старался, не мог вспомнить, какое делал им добро. Жили они каждый по себе, и Пиримкул, и он... Вон сколько лет прошло, как его брат на ноги встал. Работа есть, деньги есть, так чем ему еще может помочь Мустафа? Да, он когда-то помогал, но это было очень давно, когда Пиримкул еще не был женат на Саломат. В последние годы из-за Усмана братья не особо ладили между собой. Но брат остается братом, и Саломат ему не чужая,

невестка, жена брата... Очень плохо, что они так отделились друг от друга. Но вот теперь, когда Мустафа заболел, брат сам пришел со своей женой... Не забыл брата, заговорила, значит, родная кровь.

— И вы меня не поминайте лихом,— сказал Мустафа.

В передней послышались тяжелые шаги Усмана. Пиримкул чуть побледнел. Но Саломат не растерялась...

— Усманджан, о, Усманджан!..—крикнула она в двери. Голос ее был звонкий, чистый.— Усманджа-ан!..

Вошел Усман. В пыльных сапогах прошел к постели Мустафы и сел. Потом обратился к отцу:

— Пришли, значит?

— Пришли, Усманджан...— смущенно ответил Пиримкул Малия.

— А тут, видите, старик совсем разболелся,—сказал Усман.— Уговаривает меня быть его наследником, Но я пока не согласился. Как вы думаете, отец, соглашаться?

Пиримкул промолчал. Вмешалась в разговор его жена:

— Он вам не чужой человек, а родной дядя. Если уж решил сделать вас своим наследником, не отказывайтесь. Берите себе его наследство!..

— Брат, отец? — в лоб спросил Усман у Пиримкула.

— Сам знаешь,—неопределенно ответил тот.—Если получишь наследство, то должен тратить его мудро, с умом, советуясь со старшими, ну, хотя бы со мной... Конечно, будем молить бога, чтобы продлил жизнь твоему дяде. Но кто его знает, как поступит аллах. А пока мы с тобой в первую очередь должны позаботиться о нашем брате и дяде. Ведь у него никого, кроме нас, почитай, нету...

— Я сама вас женю,— пообещала Саломат.

— Вы мне сватаете бывшую жену Юльдаша, отец? — спросил Усман. Пиримкул не ответил.

— Не будь он вам родным дядей, разве могли бы мы допустить, чтобы вы жили не в нашем доме, Усманджан,— сказала Саломат.— Потому и не возражали, что он вам родной дядя. У вашего отца руки длинные, всюду достанут. Он вас женит на самой лучшей девушке, в тысячу раз лучше той, бывшей! Вы ведь и у нас единственный наследник!

— Это правда, отец? — спросил Усман у Пиримкула.— Вы мне завещаете наследство?

— А кому еще завещать? Конечно, тебе.

— Нет, так не годится,— возразил Усман.— Я пропью все ваше наследство за три дня.

— А ты не пропивай,— Пиримкулу Малия стало жалко своего наследства.— Это нечестно. Усман хрипло засмеялся.

— Плевать я хотел на ваше наследство, отец!— заявил он вдруг.— Это вы-то оставите мне свое наследство? Это вы-то? Да вы никому ничего в этом мире не оставите, все унесете, вплоть до дырявого кувшина! Повесите себе на шею и унесете туда!.. Знаю я вашу заботу, сидите тут над братом, как коршун в ожидании падали!..

— Прекрати! — вспылил Пиримкул.— Прекрати, сукин сын!

— Чего вы так? — усмехнулся Усман.— Я же ваш наследник, разве можно так кричать на наследника?

— Уйди, Усман!..—Мустафа поднял с подушки свою отяжелевшую голову.—Не дело так разговаривать с родным отцом.

— И вы, дядя!..—с укором сказал Усман. Но Мустафа не захотел его слушать.

— Уходи! — строго приказал он.— Займись каким-нибудь делом!

Некоторое время все сидели молча. Мустафе было неловко за выходку Усмана. Пиримкул был зол. Только Саломат оказалась на высоте...

— Весь в отца,— сказала она, улыбаясь.— И брат ваш тоже ни с кем не посчитается, если рассердится... Пиримкул улыбнулся, но как-то натянуто.

— Золотой парень, но иногда теряет голову...

Услышав о золоте, Мустафа насторожился. В комнату вошел толстый рыжий кот, любимец Гульсары. Не обращая внимания на гостей, он переступил через раскрытый дастархан и свернулся калачиком у ног Мустафы.

— Ваш кот пришел,— тихо сказал Пиримкул.

— Это его Гульсара нашла...— сказал Мустафа.

Немного помолчали. Кот задремал и начал мурлыкать.

— Мурлычет,— сказал Пиримкул.— Хороший кот, красивый.

Мустафа пошевелил ногами и разбудил кота. Тот потянулся и залез под сундук в нише стены.

— Гульсара его совсем избаловала,— сказал Мустафа.— На мышей даже не смотрит...

Мустафа взглянул на брата. Пиримкул Маля неотрывно смотрел в нишу, куда скрылся кот. Затем Мустафа перевел взгляд на невестку — она тоже смотрела в нишу...

Еще немного помолчали.

Послышался шум в передней, и на пороге показалась морда теленка, белая от муки. Переступить порог теленок не решился, так и остался стоять, одной ногой в комнате...

— Теленок ваш такой упитанный!..— польстил Пиримкул.

— Это не теленок, а настоящий ворюга,— сказал Мустафа.— Любит шарить в мешках с мукой.

— Все они такие,— сказала Саломат.— Но лучше, если отучите его воровать, не то из такого теленка хорошей коровы не получится... Выгоните же его!..— она повернулась к мужу.— Скажите, пускай уходит!

— Кш! — зашикал Пиримкул, потом взял в изголовье Мустафы большое полотенце и замахал.— Кш!

Теленок нехотя отступил назад. Через минуту услышали, как он ударился копытами об другой порог.

Мустафа посмотрел в угол комнаты, где был неразобранный еще с зимы сандал. Гости тоже посмотрели туда. Мустафа, почувствовав неловкость, перенес взгляд на потолок. Потом снова посмотрел на брата. Пиримкул быстро закрыл устремленные вверх глаза и сделал вид, будто зевает, но Саломат не успела закрыть глаза и так и осталась сидеть, уставившись в потолок.

Мустафа смутился. Ему хотелось сказать, что он больной и ему ничего больше не остается, как только смотреть по сторонам в этой тесной комнате. Но скажи он такое, брату и невестке тоже стало бы не по себе. Мустафа тяжело вздохнул и закрыл глаза...

Опять помолчали.

Вошла Гульсара. Взяла с полки посуду, снова вышла.

И кот, лежавший под сундуком, вышел следом за старушкой...

Мустафа открыл глаза: гости смотрели на сундук.

— Там, под сундуком, полно мышиных нор,— сказал Мустафа.

— Наверное, лет пятьдесят, как вы построили этот дом? — спросил Пиримкул Маля.— Или даже больше прошло?

— Нет, пятидесяти еще нет,— сказал Мустафа.— Сорок лет прошло.

— Мой деверь все делает на совесть,— сказала Саломат.— Вот смотрите, сорок лет стоит его дом, а все как новый!..

— Нет, он уже не новый,— сказал Мустафа.— А дувал я каждый год чиню.

— Это хорошо, что вы каждый год чините дувалы,— сказал Пиримкул Маля.

Мустафа не ответил. Его утомил разговор. С минуту он полежал с закрытыми глазами, но ему стало тоскливо, он опять открыл глаза и взглянул на брата и невестку. Взгляд их горящих нетерпением глаз вконец рассердил Мустафу... «Чего это они следят за каждым моим движением? — подумал он.— Не в доме же зарыл я золото!.. Скорей бы они ушли, замучили!.. К черту золото! Пускай пропадает под навозом!..»

Наконец Саломат первая устала ждать, встала...

— Пойду я, дорогой деверь. Пускай уж ваш брат посидит возле вас. Нельзя больного человека оставлять одного, вдруг что понадобится.

И она вышла, шурша атласным платьем. Братья остались одни. Кажется, Пиримкул немного стеснялся при жене, с ее уходом он придвинулся поближе к Мустафе, взял полотенце и вытер со лба капельки пота.

— Лоб-то у вас какой горячий,— сказал он.

— Сейчас еще ничего, вечером горячее бывает...

— Вечером вы, наверное, бредить начинаете?..— со слабой надеждой спросил Пиримкул Маля.

Мустафа не ответил. Сильно обиделся он на брата. «Все равно ничего не скажу,— решил он.— Пускай пропадет!..»

Вечером, когда ушли последние посетители, Мустафе вовсе неинтересно стало умирать. Было скучно часами лежать в постели, уставясь на потолок.

— Не буду я тут валяться, Гульсара, нет никакой силушки больше терпеть,— сказал Мустафа жене, сидевшей у печки с прялкой, и, не обращая внимания на причитания, снял с гвоздя халат и бросил его через плечо.

Старушка Гульсара было испугалась, но, увидя, что Мустафа поднялся без посторонней помощи, обрадовалась и бросилась на улицу, позвать Усмана. И через минуту они вернулись уже вдвоем, подхватили Мустафу под руки и повели к двери. Гордость не позволяла Мустафе пользоваться такой помощью, он попытался оттолкнуть помощников и идти самому. Он даже высвободил левую руку, со стороны старушки, но с Усманом справиться не удалось, тот был сильнее старика.

Мустафа, сам того не замечая, два раза топнул ногой от собственного бессилия.

— Вы только посмотрите на него: гарцует, как жеребенок! — засмеялся Усман и, подняв Мустафу на руки, словно малого ребенка, вынес, хохоча, из дома.

Мустафа задрыгал ногами, но ничего не вышло. Тогда он -наконец успокоился и улыбнулся Усману:

— Ладно, вынеси меня за ворота, сынок.

Усман вынес Мустафу со двора, осторожно опустил на ноги, но рук не убрал, кажется, он боялся, что Мустафа упадет. Мустафа сделал несколько шагов вперед, но и тогда Усман не отпустил его, посадил на толстое тутовое бревно. Потом принес из дома старенький палас, расстелил на бревне и пересадил старика.

Чуть ниже холма, над самым колхозным садом, пролетела стайка пегих скворцов. Мустафа долго следил за их полетом, пока они не скрылись на востоке, в дымке голубых гор. Старик перевел взгляд на запад. Вдалеке показалась еще одна стайка. По тому, как они летели рывками, то медленно, то быстро, Мустафа понял, что это воробьи. Через минуту воробьи нырнули вниз и вот уже защебетали в ветках мустафинских чинар.

Пролетела еще одна стая пегих скворцов. Показался орел, задержавшийся в степи, в окружении пяти сизоворонок. Те упрямо преследовали медлительного орла. Кажется, ему надоели эти наглые птицы, и он попытался взлететь чуть повыше, но сизоворонки были начеку—двое из них тут же оказались над головой орла. Орел нырнул вниз, но сизоворонки

опять ринулись, за ним. И так, гомоня, пролетела и эта странная компания. «Сизые останутся в обрыве за домом Бутабая,—подумал Мустафа,—не могут они далеко летать. А орел полетит в свои горы...»

Пролетела с шумом большая стая индийских скворцов, потом снова стайка воробьев... одинокий ястреб... Все птицы летели с запада на восток. На западе была степь, там птицы кормились...

Пролетела еще одна стая пегих скворцов, на этот раз огромная. Тысячи птиц, словно тучи, закрыли собой полнеба.

С другого конца кишлака, со стороны базара, показалось стадо коров. Они длинной вереницей потянулись по улицам. Первые коровы были уже у ворот Назара Махдума, а последние все еще скрывались за Коровьей вершиной.

Пыль, поднятая стадом, ползла сюда вверх. «До пруда Махсума, поди, дойдет,—рассудил Мустафа.— Дальше коровы не пройдут...» Стадо редело и редело, пока наконец не осталось с десяток коров. Две из них повернули к пустырю старика Хуччи. Остальные потянулись дальше. На какое-то время Мустафа потерял их из виду, кажется, коровы решили пройти напрямик, через упавший дувал колхозного сада. Но вот они опять показались, теперь уже за прудом Ибадулло Махсума. Три коровы пошли к воротам Ибадулло Махсума. Не успели они еще войти, как вышел сам Ибадулло Махсум за остальными коровами. Те подошли к пруду и с отлогого берега стали пить воду. Одна рыжая, корова Камиля Письмоноши, и три мустафинских быстро напились. У пруда осталась одна только корова, тоже Мустафы, огромная, с черно-золотистыми полосками на крупе. Ибадулло Махсум подождал, пока корова напьется, потом все вместе двинулись дальше. Передние коровы были уже на развилке тропинки. Корова Камиля Письмоноши повернула направо, замычала. В ответ ей слышалось мычанье теленка перед домом Камиля Письмоноши. И мустафинские коровы замычали, но телята им не ответили — они были сытые.

Наконец поднялась на холм и четвертая корова. Ибадулло Махсум отставал от нее шагов на двадцать. Корова вошла в ворота, а Ибадулло Махсум подошел к Мустафе, поздоровался.

— Какая корова у вас шустрая,—сказал он, чуть отдышавшись.— Враз обогнала меня!.. Как себя чувствуете, Мустафа, вам уже лучше?

— Скучновато, Махсум...— ответил ему Мустафа.

— Я пришел вас предупредить, Мустафа, сейчас почтенный Хуччи придет скандалить.

Ибадулло Махсум сел на землю напротив Мустафы.

— Садитесь сюда, Махсум,—сказал Мустафа.— Не сидите на голой земле.

— Мне везде хорошо,—сказал Ибадулло Махсум.

— А коня вы отвели к хозяину, Махсум?

— Отвели, Мустафа. Но почтенный Хуччи сильно разгневался на нас. Сейчас он придет скандалить.

— Пусть приходит, Махсум, мне самому не терпится его повидать.

— А вы странный человек, Мустафа,—сказал Ибадулло Махсум.— Не думал я, что вы пошлете ко мне своего Усмана. Надо же? Купили коня и отвели к почтенному Хуччи. Кто услышит, смеяться будет, Мустафа.

— Пускай смеются, Махсум, хорошо, если будут смеяться...

Мустафа улыбнулся. Ибадулло Махсум тоже улыбнулся.

— Я верну вам ваши деньги, Мустафа.

— Не говорите мне о деньгах, Махсум. Я только с постели поднялся, мне не хочется говорить о деньгах.

— Нет, так не годится, Мустафа,—сказал Ибадулло Махсум.— Я не могу не платить свои

долги. Надо и о душе подумать. Что я буду делать, если вы придете ко мне на том свете требовать свои деньги?

— Не приду требовать, Махсум.

— Нет, Мустафа, нехорошо это. Вдруг сам аллах прикажет: пойдя, мол, Мустафа, потребуй свои деньги?

— Нет, я не потребую, Махсум,—повторил Мустафа.

— Я вам все равно верну долг,—не согласился Ибадулло Махсум.—Да еще тут почтенный Хуччи взбунтовался, трудно будет его уговорить.

— Уговорим,— сказал Мустафа.— Я ничего не хочу у вас брать. Посидите со мной, мы с вами вдвоем.. и обрадуем человека.

Кажется, Ибадулло Махсуму хотелось одному обрадовать старика Хуччи, и он промолчал.

— Я вот смотрю, как птицы летают,— сказал Мустафа, желая отвлечь Ибадулло Махсума,

— Решили голубятником стать?

— Да нет, просто так... сижу и смотрю, как они летают. Вон летят индийские скворцы...

Ибадулло Махсум взглянул на небо и увидел стайку скворцов.

— А, эти? — Ибадулло Махсум немного помолчал. — Я что-то не помню их до войны.

— Нет, они появились у нас еще до войны,— сказал Мустафа, гордясь своей памятью.— А раньше их совсем не было. Говорят, из Индии прилетели.

— Скворец хоть и индийский, но умная птица,— сказал Ибадулло Махсум.— Одно плохо, растаскивают виноград. Хорошо бы только в винограднике клевали, так нет, по целой кисточке в клюве уносят... Это же подлость, Мустафа!..

— Все равно хорошая птица,— сказал Мустафа.— Сказывают, могут человеческим языком разговаривать, если вскормить материнским молоком.

— Это, наверное, так про галок говорят,—не поверил Ибадулло Махсум.

— Нет, Махсум, про этого самого индийского скворца.

Ибадулло Махсум чуть задумался.

— А ведь это здорово, Мустафа, если птица заговорит,— сказал он немного погодя.— Сиди с ней и разговаривай, сколько хочешь. Если бы у меня был такой скворец, я бы научил его ругать Турабая!..

— Зачем вам учить птицу ругаться? Дома женщины, дети, неловко как-то, Ибадулло Махсум.

— Да, правильно, Мустафа,— согласился Ибадулло Махсум.— Я обо всем думал, а об этом не подумал. Конечно, хорошо, если бы птица ругалась только когда Турабай один. Но так, наверное, трудно ее научить. Да и кто ее знает, может, она вообще станет болтливой, как женщина!.. Ведь ее женским молоком надо вскормить?

— И немногословных вскармливали женским молоком,— возразил Мустафа.

— Ваша правда! —обрадовался Ибадулло Махсум.—Но, Мустафа, думаю, дело это не легкое...

— Но вы смогли бы научить птицу, Махсум, все-таки сами учились в медресе.

— Нет, не смогу,— покачал головой Ибадулло Махсум.—Где мне взять материнского молока? Старуха моя давно не рождает, сама стала, как ребенок, будто ее позавчера родили. У невестки спрашивать совестно.

Ибадулло Махсум постоял несколько секунд во власти нечаянной грусти, потом поднял голову и посмотрел на запад, и тут же лицо его просияло.

— Посмотрите-ка на закат, Мустафа. Горит, будто щечки молодой девушки, каково, а?

— Завтра будет жаркий день, Махсум,— сказал Мустафа.— Раз закат розовый, значит, день выдастся непременно жаркий.

— Я не очень верю этим приметам, Мустафа, помню как-то, в прошлом году весной был такой красный закат, а на завтра выпал град, с орех.

— Но это редко бывает, чтобы не совпало...— возразил Мустафа.

— Почтенный Хуччи идет! — сказал Ибадулло Махсум, мгновенно позабыв о закате.— Сейчас он начнет скандалить. Посмотрите вниз, Мустафа, вон там, у пруда!

Мустафа посмотрел вниз. Старик Хуччи шел в их сторону, ведя за уздечку неоседланного коня...